

ИНТЕРПОЭЗИЯ

2019

ИНТЕРПОЭЗИЯ

международный журнал поэзии
intercultural magazine for poetry and arts



2019

ИНТЕРПОЭЗИЯ

Международный журнал поэзии

2019, по материалам выпусков 52-55



Нью-ЙОРК – МОСКВА

Главный редактор и издатель: Андрей Грицман (Нью-Йорк).
Соредактор: Вадим Муратханов (Москва).

Редакционная коллегия: Лилия Газизова (ответственный секретарь, Кайсери), Александр Вейцман (секция переводов, Нью-Йорк), Марина Гарбер (секция критики и литобзоров, Лас-Вегас), Лариса Щиголь (Мюнхен), Марина Эскина (Бостон).

Редакционный совет: Игорь Бяльский, Владимир Гандельсман, Юлий Гуголев, Владимир Друк, Бахыт Кенжеев, Владимир Салимон, Александр Стесин, Алексей Цветков.

Зав. редакцией: Елена Ариан.

ISSN № 1554-9313 Электронная версия

ISSN № 1554-9305 Печатная версия

© Авторы, тексты
© Интерпозия, состав и оформление



Журнал издается при участии издательства
NUMINA PRESS, Калифорния (www.numinapress.com)

ИНТЕРПОЭЗИЯ – международный журнал лирической поэзии, основан в 2002 г. Журнал публикуется в США и выходит в электронной версии на сайте журнала interpoezia.org. Мы публикуем стихи, переводы, короткую прозу («стихопрому»), эссеистику, интервью, дискуссии и отзывы о новых книгах и журнальных публикациях.

Наш журнал – это поэзия «поверх границ», в координатах времени и пространства. Наши времена – потеряянность в толпе и одиночество в глобальном межкультурном пространстве, когда поэзия становится основным способом общения между посвященными. Это также попытка навести электронный мост между материками двух мощных языковых и литературных культур: русской и англоязычной. Русский язык, а с ним и поэзия, живет и развивается, подобно современному английскому, на разных территориях: в метрополии, в дальнем и ближнем зарубежье. Сведение под одной небесной крышей поэтов и редакторов из разных стран сегодняшнего обитания поможет найти общий поэтический язык.

Адрес редакции:

Interpoezia, Inc.
210 Riverside Drive, Suite 6D
New York, NY 10025
USA

Электронный адрес: *editor_interpoezia@hotmail.com*

Все материалы в редакцию рекомендуется отправлять по электронной почте.

Просьба прсылать не более 10 страниц текста с краткой биографией. Большие объемы редакция не рассматривает.

Рукописи не рецензируются.

Авторские права передаются авторам после публикации. Все материалы опубликованы с согласия авторов. Просим при перепечатке наших материалов ссылаться на источник.

Журнал можно приобрести:

Нью-Йорк: в нью-йоркской редакции журнала: Елена Ариан
editor_interpoezia@hotmail.com

Москва:

в магазине «Фаланстер», ул. Тверская, 17;
в московском отделении редакции: Вадим Муратханов
khanmurid@mail.ru

Израиль: Игорь Бяльский, Tekoa, 90908, 153, PO Box 324, Israel.

Представитель журнала в **Санкт-Петербурге:** Наталья Дзе
natashka75@inbox.ru

Представитель журнала в **Сибири:** Татьяна Шнар, директор
Дома искусств, Красноярск
shnartanya@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

Анатолий Найман	
ДРУГАЯ ЖИВОПИСЬ.....	11
Евгения Риц	
ПАРК ВНУТРИ	15
Алла Боссарт	
ФАНЕРНЫЙ НАУТИЛУС	19
Галина Нерпина	
БЕСПОРЯДОК, В КОТОРОМ ПОКОЙ.....	23
Санджар Янышев	
СТИХИ И ЛИМЕРИКИ	26
Марина Гарбер	
ПО ЛЕСТНИЦЕ, КОТОРОЙ БОЛЬШЕ НЕТ.....	29
Наталья Резник	
УВИДИМСЯ В РАЮ	38
Евгения Джен Барапова	
ПОБЕГ ВОДЫ.....	42
Катя Капович	
НОВЫЕ СТИХИ	45
Олег Хлебников	
«ЗДЕСЬ» И «ТАМ»	50
Света Литвак	
ЛЮБОПЫТНЫЙ ПАЛОМНИК.....	52
Алексей Остудин	
ЧТО-ТО ВАЖНОЕ СМЫТО С ХОЛСТА.....	55
Анна Трушкина	
ХРАНИ МЕНЯ, ГОРОД	58
Лилия Газизова	
НЕСОВЕРШЕННЫЕ ЛЮДИ.	
Вступительное слово Бахыта Кенжеева.....	60

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Шамшад Абдуллаев	
ФОТОГРАФИЯ ЮРИЯ ВЕДЕНИНА «СТАРАЯ ШКОЛА».....	65
Заир Асим	
ИЗ КНИГИ «НАГОТА».....	71

ПОЭЗИЯ

Марк Вейцман	
ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧИСЛА.....	79
Инга Кузнецова	
ОБРАЗЫ ДЫХАНИЯ.....	82
Юлий Хоменко	
РЕКВИЕМ	84
Андрей Гущин	
ВО СНЕ И НАЯВУ	88
Андрей Цуканов	
ИЗ ХРОНИКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЖИЗНИ НЬЮ-ЙОРКА	90
Лера Манович	
НЕНАПИСАННЫЕ ИСТОРИИ	95
Елена Зотова	
ДОЛИНА СЧАСТЬЯ.....	100
Данил Файзов	
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕРЛИБРЫ.....	103
Ирина Котова	
АКУПУНКТУРА НАСИЛИЯ	108
Владимир Строчков	
ИЗ КНИГИ «ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕТ».	
Вступительное слово Владимира Гандельсмана.....	115

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Михаил Рабинович	
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПАР	129
Петр Образцов	
ВЕЩЬ В СЕБЕ	135

ПОЭЗИЯ

Андрей Коровин	
ТОСКА РЕКИ.....	141
Борис Кутенков	
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ СПИНА	146
Юрий Цветков	
ОТЦЫ И ДЕТИ.....	151
Нелли Воронель	
БЕСПРИЮТНЫЙ РОМАНС	154

Владислав Пеньков	
ЗИМНЯЯ БАБОЧКА	159
Татьяна Вольтская	
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК	161
Виктор Есипов	
СОН НА РОЖДЕСТВО	166
Владимир Ханан	
ДЕТАЛИ ПАСТОРАЛИ	168
Владимир Мялин	
СПАСЕНИЕ ФРАНЦИИ.....	173
Наталья Белоедова	
ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ.....	177
Елена Пестерева	
БОЛЬШАЯ ВОДА.....	180
Мартин Мелодьев	
НЕ БЫВАЕТ ЗИМЫ	184
Леопольд Эпштейн	
ЧЕМ ДЕТСТВО СТРАШНО.....	186
Евгений Степанов	
СВОЕ МЕСТО.....	189
Владимир Эфроимсон	
ТЕМНАЯ РАДОСТЬ	192
Александр Самарцев	
ИЗ КНИГИ «СЕЙЧАС».	
Вступительное слово Владимира Гандельсмана	195

VERBA POETICA

Андрей Грицман	
НОВЫЕ ГРУЗИНСКИЕ ПОЭТЫ: ДЫХАНИЕ ПОТОКА.....	203
Тариэл Цхварадзе	
НЕМОЕ КИНО	204
Темур Элиава	
ЧУЖИЕ ЛЮДИ	209
Лилия Газизова, Сергей Шабуцкий	
О ГАРМОНИИ, БОКОВЫХ ТРОПИНКАХ И ПОЭЗИИ, СТОЯЩЕЙ	
ЗА ТЕКСТОМ.....	215
Григорий Старицковский	
К 200-ЛЕТИЮ УОЛТА УИТМЕНА. Эссе и переводы	225

Бэрон Уормсер

РОБЕРТ ФРОСТ И ДРАМА СТОЛКНОВЕНИЯ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Перевод с английского Елены Ариан 233

Ирина Машинская

МУРАВЕЙ НА РЕЛЬСАХ.

Об особенностях творческого метода Олега Вулфа 244

П Е Р Е В О Д Ы**Ричард Бротиган**

ЖЕНИТЬСЯ НА ЭМИЛИ ДИКИНСОН.

Перевод с английского Семена Беньяминова 253

Илья Каминский

В НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТРАНЕ.

Перевод с английского и вступительное слово

Анатолия Кудрявицкого 256

Антон Яковлев

НЕДОЛГОЕ ПЛАВАНИЕ.

Перевод с английского Игоря Сатановского и Саши Гальпера

при участии автора 259

Дори Манор

ОСОБЕННОЕ ВРЕМЯ. Перевод с иврита Дмитрия Кузьмина,

Шломо Крола, Алекса Авербуха 268

Хорхе Луис Борхес

ТАМ, ГДЕ МОЙ ПРАХ. Перевод с испанского Павла Алешина 277

Хеге Сири

СЛОВА О ЗАМЕРЗШЕМ ТЕПЛЕ.

Перевод с норвежского и вступительное слово Александра Панова 281

IN MEMORIAM**Алекс Тарн**

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮДСОНА 287

Андрей Грицман

«ГОСПОДИ, ДЫШАТЬ ТАК ТРУДНО...» 293

Ирина Маулер

ДОМ 294

ПОЭЗИЯ



Анатолий Найман

ДРУГАЯ ЖИВОПИСЬ

* * *

Не поддавайся видимости событья,
яду им впрыснутого настроенья –
как не мирись с похмелья, ссорясь в подпитье:
гладью время не шают, с ним вступают в тренъя.

Не поддавайся мгновенью: из путанных свито
нитей оно, рваной простегано вязью
букв: ты не знаешь этого алфавита,
видишь только узор, не поддавайся.

Это я не другим, а тебе, Анатолий,
самому. Бессобытийна судьба. Событье –
смолл-ток. Стилистика выставок и застолий:
кто на открытие был – был, считай, на закрытие.

ЖИВОПИСЬ

Не живопись – мазня. Но в этой-то мазне
другая живопись, та что любезна мне:
уродство карлика – под желть волос инфанты,
монаршья блажь – огонь в зрачке маэстро, пятна

на скулах, кисть в руке. Мазня – прямой театр
юнцов, на первый бал встающих из-за парт,
лиц голизны под грим, под крем, под бачки, пейсы –
томление сладкое, зачем мы европейцы.

Зачем не карт расклад искусство, а поп-арт?

Не-образ-а-мазня – итог. Что даль, что близь,
что часть, что целое – одно. И ошибись
изображение, мазком грязцы художник
прилепнет трескотню речей пустопорожних.

И не забудьте холст, он пасть и он же хвост
процесса влажных язв и сохнущих корост,

эмблема творчества: из праха, слизи, жира
неоспоримую слепить картину мира

(он холст-то холст не прост, доспех, зерцало звезд),

эфира сплохи – как рыцарский штандарт,
под ним Европы полк, точнее авангард
солдат, стяжавших не оружьем, но в молельне
на час бессмертье, нерв родства, родник томленья.

Мазня не путанность и страсть, разгул и мрак,
а дерево зимой: сомкнулось все в кулак,
раздевшись как к врачу, допрежь того увянув,
чтоб анатомию его постиг Иванов.

Торс. Хаос тканей. Дебрь ветвей. Мослы. Костяк.

До геометрии отсюда шаг: до форм
и красок базовых. В фольгу расплющить шторм
трехмерности – не текст, но сродно скифским вазам:
круг черных квадратур – их скол, их миром мазан.

Письмо живое – дубль – история – корабль,
разглаживающий моря почище грабль,
плуг, вспарывающий бесстрашно и свирепо
ларцы земли, шелк магм, овчинку неба-склепа.

Ты как парик на все, с чего снимаешь скальп.

* * *

Цепь слепящих просветов,
но не свет. Не кровей
певчих отпрыск. Поэтов
образ. Но не Орфей.

И однако, однако
дыр-бул-щыл наш и пир
говоренья и смака
речи – он! Он Шекспир!

Счет идет от Шекспира,
он как ствол-водомет

выше града и мира.
Пусть бухгалтерский счет.

Что от бури накаплет
с крыши в цинковый таз
и намек, де не Гамлет
ли сам-пять Карамаз.

Бег вдоль спицы костяшек
не стихи. Не парик
лик. Словесность – рубашек
козырной воротник.

СЕРАЯ ВЕТКА

На Тимирязевской и Дмитровской костюм
от де ла Рента ваш – костюм, и всё, и точка.
К Савеловской уже одежда, оболочка.
От Чеховской и до Полянки он в вас ум
изобличает, ценз культурный, взлет души,
шик франта: воротник подбит мышиной лентой...
А дальше камуфляж – крик моды: де ла Рентой
чертановских не зли, щербинских не смеши.

Князья Чертановский, Щербинский, Янгель-граф,
киргизов приучить решившие к мундирам,
нашли солярки крап муниципальным дырам
в пандан – и звание: стригаль газонных трав.
Стук стыков рельс входил им снизу в дрожь колен,
подземных крылья ламп пластая, мчался ангел,
за ним, через проход дремля, Чертан и Янкель
тряслись в свой реквием сквозь метрополитен.

Костяк – костюм, костяк – костюм. На том пластрон
и том. И камуфляж: вокруг все в камуфляже,
как бы война, но и – как бы одет по блажи,
как бодигард и как конвой, микрорайон.
Дистанция – модель, не мода. Как дома
не склепы стен и крыш. И есть на ветке серой
от ямы и пути отказ, стоячей мерой
мерь или шаговой его – земля сама.

MAIN LINE

Я жизнь свою как джингл беллс
когда пропел, когда провыл –
как сев в рождественские санки
вдоль занесенных выногой рельс
рысцой в салун и церковь янки
мимо увитых хвоей вилл.

Поскольку праздник. Быть с людьми
обычай. Он над снегом плыл.
Конь цокал, колокольчик тинькал.
Рев певчих. Клавиш до-ре-ми.
И мускул сборища и пыл –
он. Или я. И – джингл, джингл!

СЕТЬ

Ужать вселенную до створика
ворот, захлопнуть. Даль стереть.
Признать, что бытие – историйка,
забитая рыбешкой сеть.

...Я вам пишу по-электронному
в эфир, где ждет давно ответ
от вас, сменив язык и родину
на сноски к ним, и свет – на свет

экрана; мыщцы букв – на извести
шипящей жижу; на муляж
слов – беглость речи; на наивности –
суть дела; благодать на блажь.

Я вам пишу не ради вызова
на переписку, а рука
сама толкает. Ну, и сизого
взметнуть охота голубка.

Евгения Риц

ПАРК ВНУТРИ

* * *

В парковых дебрях не трава стояла,
Не снег лежал,
Но иной материи выверты и овалы
Складывались в пожар.
Этот парк был внутри, он был, прямо скажем,
Грудной, как жаба,
И по ходу вспомним ведьму и молоко,
И побитые яблоки в нем лежали
Близко и далеко.
Под белесым камнем, лежачим и близоруким,
Не вода бежала, но свет бежал,
И его доверчивые подруги
Возмущались полными ртами жал.

* * *

Лежит в могиле из могил
Засыпан до поры,
Когда над ним под пенье пил
Засвищут топоры.
Могучий лес до трех небес,
Четвертому не быть,
Как лимузин, несет невест
Во всю стальную прыть.
Одна ударит и сбежит,
И кружевной мелькнет
Ее надеванный прикид
И ненадежный рот.
Каемки синие взметут
И красные взметут,
И всякий день захочет быть
Она не только тут.
Так что который час бежит,
И пятки холодят
Макушки елей или лип
И плач лесных галчат.
А за каймой, за окаймой,

Насколько хватит глаз,
 Колючий воздух городской,
 Горючий чистый день деньской,
 И денег хватит, и покой
 Приемный целый час.

* * *

Здесь железная дорога превратилась в ртутянную,
 Рдяный поезд-огонек улетает в хлябь земную,
 И поют его вагоны, бьют друг друга по бокам,
 Город через запятую
 Прибирает их вокзальным
 Звоном к стянутым рукам.
 Пробирает их вокальным
 Голодом меж тамбурами,
 Точно между шампурами
 Огненно-мясной просвет.
 Вьются сполохи по рельсам,
 Выходи, давай, согрейся,
 Из хрустального плацката,
 Из общественного места.
 Это честь твоя задета,
 На нее пальто надето,
 Чемоданчик на колесах,
 Сигаретка на губе.
 Ветер вьется без вопросов
 Между зимних голубей.

* * *

Я твоя на всегда-всегда,
 Как лесные духи,
 Бегущие в города,
 Как пустынные джинны на провода,
 Как морские рыбы плечом в причал,
 И речные рыбы, и тусклый остывший чай.

Нам ли мыкать старость без пять минут,
 Нет, уже без трех, как же они манят,
 Ты мой брат
 И корзина яблок, и скорбный труд,
 И пожитый скарб в паутине пут.

* * *

На длинных дорогах садов и песков
 Присядет знакомый товарищ.
 Он верит себе, потому что таков
 С ним ветер. А ты привираешь
 Холодную дымку на левом глазу
 И отблеск пожарный на правом,
 Но вместе они не составят грозу
 С ее неотъемлемым правом.
 Огонь и вода составляют дитя,
 Помятую взрослую особь
 С прожаренной плотью на мокрых костях,
 И больше она не попросит
 Ни пить и ни есть, ни в траве полежать,
 Ни быстрой удачной карьеры,
 Покуда округа – зернистая гать,
 Плытвущие сушей карьеры.

* * *

Здесь долгий дом под хлопьями тумана,
 Он долгий ввысь, он высокоэтажный,
 И у него в окне зияет рана
 От занавески хлопчатобумажной.
 Он високосный, и в его деталях,
 В раскрошенных дверях, в раскатах плоской крыши
 Находится не то, что не искали,
 А говорится то, что не надышат.
 Их переселят всех к аэропорту,
 В слепую глушь, где нет метро ни метра,
 Один трамвай, восьмой или четвертый,
 Меж пьяных глаз проходит незаметно.
 А он останется, теперь уже не ранен,
 Но экскаватором пока еще не тронут,
 Но воздух сразу хлынет из пробоин
 На землю тяжкую в ее земной короне.
 И выйдут эльфы, выйдут и сильфиды,
 И саламандры в сполохе конфорок
 Своей толпой на городские виды,
 Прозрачные, хотя они не морок.

* * *

Старик, идущий в планетарий,
Двадцатый год, тридцатый год.
В могучей поднебесной таре
Такое небо настает,
Что не звезда с звездою скажет,
Но кресло выкрикнет спине,
Как пахнет холодом и сажей
На круглых улицах извне.
Так говорит озон беззвездной,
Еще не взрезанной серпом
Арбузной корочки морозной
Под долговязым грузным ртом.
Дымы уходят в стратосферу,
Не выкликая имена.
Да, мы уходим, страстотерпцы,
Не выключая и меня.
Но здесь меня еще не будет,
Где душный вязкий кинозал
Дрожит, как бы воздушный студень,
Чуть приникающий к глазам.
Старик, в нем видя ночь и утро,
Еще медведиц и волков,
Становится живым, как будто
На самом деле не таков.

Алла Боссарт

ФАНЕРНЫЙ НАУТИЛУС

* * *

У нас была великая эпоха
в стране, отдельно взятой и суповой,
мы ели дрянь и одевались плохо,
и знать не знали, что портвейн бывает
не рашильный, как на углу в подвале,
а бархатный, как платье у Орловой.

Хотелось дотянуться хоть до Польши –
блеснуть, как скажут дети, в «универсе».
Мужской пиджак на два размера больше
и клещи в клеточку! О, Верка понимала...
(а мерку на глазок она снимала),
и воздавалось каждому по вере.

Мы заграниц не видели ни разу,
хоронили Таллин в камушке зашитым,
матрас на крыше – римская терраса,
там пятых копий папироный шорох
шуршал, как древоточец, в наших шорах,
там голуби с венецианским шиком

пронизывали кисею Висконти,
надменно сея цинковые кляксы...
Реакция волшебного с посконным:
уборная, одна на десять комнат
(кому досталось – слава богу, помнят),
руль – койка в Гаграх, и Козел на саксе.

А кроме, кроме – в доме Нирнзее
(музей эпох, хранилище сюжетов,
сам – многослойный экспонат музея) –
под водку с самой пролетарской пищей
голодное клубилось токовище
отдельно взятых, чокнутых поэтов,

назначивших себе земную цену
быть гениями. Так писали, будто

никто до них с эпохи миоцена
не сочинял. И дай ему рубанок –
им настрогал бы пьяный в дым Губанов
небесный вальс танцующие буквы.

В дыму той нирзеевой лачуги,
держа прямыми пальцев веретена,
сучил и прял гармонию Бачурин,
и ждал, чтобы его расшевелили,
князек московский Боря Кочейшвили,
и Ольга замирала обреченно...

Я девочкой застала те Афины
героев, гениев, гетер и гегемонов.
С тех пор во мне гнездятся эндорфины –
гормоны радостной и небывалой жизни,
хотя давно истлели розовые джинсы,
которые мне сшил тогда Лимонов.

* * *

Над городом парадных, поребриков и булок,
и рюмочных, и арок
ходил один, как гвоздь,
на клоунских ходулях и в чем-то вроде бурок,
гамаш или опорок
окоченелый дождь,
и мрачными глазами, гримасой ядовитой,
губою кривоватой,
шарами в голове
он был похож на Хармса с пришитой рукавицей,
дырявой рукавицей,
висящей в рукаве.

Над городом шатался, бездомный, с керосином,
из лавки с керосином
в бидоне за спиной,
и засевал Фонтанку чахоточным курсивом,
японской курсивной,
и водку пил со мной.

А я-то вся такая, вся пьяная, как чижик
(слетевший на порожек),
укрылась под кустом,
а куст мне по-собачьи лицо и руки лижет,
он никому не служит,

и лепестки крестом.
 А дождь над Ленинградом опохмелился пивом
 и на прощанье что-то насмешливо прочел,
 и куст в саду зажегся сиреневой купиной,
 лиловым керосином,
 бесстрашным кирасиром –
 и не сгорел причем.

* * *

Зинаида Башмакова 76-го года рождения
 проживает в коммуналке на улице Котика Вали
 от судьбы она не имеет и не ждет снисхождения
 катается вагоновожатой в 39-м трамвае

вдоль Чистых прудов где плавает черный лебедь
 бывало встанет на светофоре у Покровских ворот
 и мечтает вот бы новые обои поклеить
 бордовые с желтым узором или наоборот

в смысле желтые с бордовым повеселее
 как листья в кильватере лебедя на черном зеркале глади
 мечтает Зина с тугую грудью и аппетитным филеем
 ветеран и представлена к правительственной награде

ходит к ней дальnobойщик один Тарасов
 мужик малопьющий с переменным успехом
 не любит евреев чурок и особенно пидаласов
 а квартиру сдает аж пятерым узбекам

между рейсами у Зинаиды сам он спит-отдыхает
 на улице Вали Котика пионера-героя
 там живет еще девяностолетняя Хая
 да плюс санитарка Ленка с дурковатой сестрою

дура ты Зинка пропыхтел поутру Тарасов
 Ленка видал на бабку пашет что твоя лошадь
 нет бы тебе-то жопу поднять с матраса
 глядишь нам бы дура ты отписала еврейка площадь

и Зинаида тогда потеряла свое терпенье
 и спихнула с себя упрыя на последнем его скаку
 и упрыль зарычав отделился как ракета второй ступени
 а за стенкой запела про ясень сестренка та что ку-ку

а Ленка все кормит Хаю согласно ее кашруту
и носит за ней горшки и стирает ее ссанье
а Зину посвatal Лобанов с 13-го маршрута
а лебедь улетел из зимы в африканское лето свое

* * *

Юрию Росту

Мне снился город-тамада, испытанный в застольях,
огонь в его хмельных очах, не сякнет саперави,
его не считаны года, тверды его устои,
прекрасен лик, горит очаг и гости за пирами.
Мне снился город, он парил на крыльышках балконов
все вверх, по скачущей реке, все выше, по спирали,
оправлен в серебро перил и переплет оконный,
держал, как птицу на руке, рог, полный саперави,
знаком и будто незнаком, и цвел гранат в петлице,
был поцелуй его, как смерч, и кровь кипела в жилах...
Друг разбудил меня звонком: он пил три дня в Тифлисе.
Друг знает жизнь и знает смерть.
А я не заслужила.

Галина Нерпина

БЕСПОРЯДОК, В КОТОРОМ ПОКОЙ

* * *

Розы расцветают...

В.А. Жуковский

Нетронутая, полная весна –
которой человек уже не нужен.
Он слишком вероломен и недужен –
чтоб на него обрушилась она.
Зато деревья, птицы и трава
взьмут себе ее тепло живое.
А человек – пространство нежилое:
он просто нижет временно слова.
Вот он стоит с заточкою в руке –
и словом равнодушно точит слово.
И ничего не замечает снова...
И розы расцветают
вдалеке.

* * *

Бог знает, по какой привычке
Откроешь в клеточку тетрадь,
Зажжешь свечу, рассыпав спички...
Не бойся, милый, умирать!

Скользит и кланяется пламя
И спотыкается, шипя.
Его короткого дыханья
С избытком хватит для тебя.

Летит расхристанная птица
И машет – вся я не умру! –
Морозной пылью серебрится
И рассыпается к утру.

И смуглым эхом строчек гулких
 С тобой перемигнется тот,
 Кто по заветным закоулкам
 Тебя к финалу приведет.

* * *

Ирине Ермаковой

Смотри, как тонко
 яблоко гниет,
 подробно и разносторонне.
 И что-то отвлеченное
 поет,
 когда его вращают на ладони:
 про тень и свет
 в летающем саду,
 и про стрекоз,
 несбыточных и важных,
 и про жуков, имеющих в виду
 вернуться, чтоб
 не огорчать домашних...
 Так долго-долго тлеет кожура –
 что вот уже промчался
 век свистящий.
 А эта обреченная игра
 никак не станет
 смертью настоящей.

* * *

B.M.

Угрюм и странен человек –
 но отразится свет
 в глазах, утративших навек
 свой первозданный цвет.

Бредет домой навеселе,
 поднимет воротник.
 И мысли сохнут в голове,
 как спутанный тростник.

Постылых истин отставник,
Бердяева знаток,
он жизнь свою, как стопку книг,
на свалку отволок.

Идет теперь навеселе,
несет в руке винцо.
И отражается в стекле
помятое лицо.

* * *

Станет легче...
Откроется давняя дверь –
и наступит весна.
Станет легче, поверь!
И затеется дождь. За пустым гаражом
пузырится вода, как веселый боржом.
Неужели возможен порядок такой,
Или нет – беспорядок,
в котором покой
безнадежная жизнь освещает одна
ежедневно, навеки...
До самого дна.

* * *

Неутомимый
четырехсотлетний
звук колокола покрывает летний
прошитый тенью город на песке...
Глухой звонарь
висит на волоске.
Блеснет на дальней крыше черепица.
Звонарь висит себе – и в даль глядится.
И различает
что-то там вдали.
И дух любви восходит от земли.

Санджар Янышев

СТИХИ И ЛИМЕРИКИ

* * *

Вот из-под носа поезд – уууууу.
 Шипящий нетерпением, обтекаемый презрением.
 Иди рядом, сколько возможно.
 Провожай застывшие лица.
 Скорость изучения – мгновенная, фотографическая.
 Пытайся запомнить, впитать, отложить.
 (Будто яйца в красный песок.)
 Ибо спустя минуту сорок секунд
 Их разнесет в тоннеле на генетические материалы.
 Так, во всяком случае, бывает.
 Не часто, не слишком часто.
 Однако еще долго опоздавший счастливчик
 Рассказывает о постигшем его чуде.
 И не рассказывает, что он их спас –
 Всех-всех, не сомневайтесь.
 Поскольку из горячих яиц
 Однажды выплутятся маленькие дракончики,
 Способные преодолевать расстояния,
 Не задевая провода, не погружаясь в землю.
 Могучие оборачивать время
 В любую из шести сторон,
 Как Doctor Who в сериале,
 Всегда бегущем верхней строкой.
 На днях выйдет новый сезон.
 А они его уже видели.

* * *

Моя покойная тетка
 Говорила моему брату:
 Мальчики, не женитесь на вдовах и разведенных.
 Девушку из неполной семьи не берите.
 Не женитесь на тех, кто старше.
 Тех, кто сильно моложе, берегитесь как в лесу дикого зверя.
 Избегайте красивых.
 Слишком умных тоже не надо.
 Не сватайтесь к нищим.

Богатство – нет большего горя.
 Образование — хорошо, но не всякое.
 Слишком простых – ну, тут тоже понятно.
 Пусть не делает различия между собаками и кошками.
 Между зимой и летом.
 Богом и чертом...
 А попроси ее заварить тебе чай.
 Пусть обдаст мытый чайник кипятком,
 Пусть заварку берет не ложкой, а пальцами, не уронив на стол
 чаинки;
 Пусть укутает чайник полотенцем, пусть слегка его потонит...
 Пусть дважды нальет и дважды вернет обратно.
 Пусть подаст тебе чашку, наполненную на две трети, пусть
 соединит свой взгляд с твоим...
 А вы как хотели?
 Жену найти – не легкое дело.
 Но хорошую жену легче сделать счастливой.
 И только это по-настоящему важно, только это.
 Женщина должна быть счастливой.

НЕКОТОРЫЕ ЛИМЕРИКИ НА 2014 ГОД

Один мой друг однажды решил, что за водку платить – грех. Тем не менее, водку, купленную другими, он после недолгих уговоров с удовольствием пил.

Один мой друг, обнаружив пропущенный вызов, никогда не перезванивал. При этом сам каждый день кому-то звонил и, не дождавшись ответа, сбрасывал звонок, словно это ему звонят, а он не желает говорить.

Один мой друг, прежде чем предложить кому-то из друзей только что прочитанную книгу, хорошенько справлялся, сильно ли человек занят, много ли в последнее время читает, в каком направлении думает...

Один мой друг шел, шел по улице – и умер, хоть так не бывает. Зубная щетка, кстати, у него была электрическая, что, впрочем, никак его не характеризует – была и была. Может, кто-то подарил.

Один мой друг шел навстречу событию, даже если оно наверняка сулило несчастье. При этом своим женам он ни разу не изменял.

Один мой друг никого не любил, хоть это и бросало на него свою вислогрудую тень.

Один мой друг, впервые спустившись в летнее метро, вынес оттуда одно наблюдение: «Они не шевелят пальцами ног. Почему они не шевелят пальцами ног?!»

Один мой друг родился счастливым, рос безответственным, умер молодым; одна моя подруга (и она не врет!) была его первой женщиной, потом вышла за австралийца, в год овдовела, теперь написала книжку про то, как пережила двоих, но счастливой стала – с третьим.

Один мой друг никогда не пьянял. При этом, выпив триста грамм, вспоминал одному ему известный эпизод из какого-то фильма и бесконечно повторял: «луарвик луарвик...».

Один мой друг наутро после возлияний пил чай из вчерашней рюмки: маленькими глоточками, как бы постепенно снижая градус.

Один мой друг смотрел сериалы и очень гордился тем, что успевал рассмеяться прежде, чем бутафорский хор за кадром. Часто, впрочем, их реакции не совпадали – это он тоже относил за счет своей независимости.

Один мой друг на вопрос о том, почему евреи такие умные, отвечал: у них в генах заложено читать справа налево.

Один мой друг где родился, там пригодился. Он стал кормом для своих бессмертных родителей.

Один мой друг впервые заговорил в пять лет. И ничего – вырос прекрасным человеком, работает в Интерполе.

Один мой друг искал общую с Богом зону вай-фая и очень удивился, уловив ее в кончиках собственных пальцев.

Один мой друг оставил по себе запись: *Мы можем постигнуть законы природы, но мы никогда не поймем природу вещей; вот что вселяет*

Марина Гарбер

ПО ЛЕСТНИЦЕ, КОТОРОЙ БОЛЬШЕ НЕТ...

* * *

По лестнице, которой больше нет,
в пятнадцать складок (пятая – щербата),
пружинисто наверх взлетает шкет
непоротый – к словам «ученье – свет»
на выгоревшем ватмане плаката.
Но если нет ее, ты скажешь, то
откуда взяться школьнику? И все же,
как весело подкрыльышки пальто
топорщатся, как прилипают к коже
губ лопнувшие пузыри ситро.

По городу, которого давно
с огнем не отыскать на новой карте,
не мы идем, а просто тети-дяди
несспешно выползают из кино,
и чуть поодаль – маленький Вивальди
несет весну в футляре... Все равно,
как звался город, правда или ложь,
кто попирает жизнь движеньем ловким,
чтоб тот, который ждет на остановке –
нет, не меня! – был на тебя похож.

По улице, где задом наперед
плывут громадой ледоходы зданий,
и тополя в грозу, и горожане,
и голуби у золотых ворот,
и даже ты, такой родной и дальний, –
все вывернуто, все наоборот.
Летят назад, хотя стремились вверх,
в самих себя в конце впадая, реки,
зеркальные приподнимают веки,
чтоб выловить и обозначить всех,
все адреса и вывески: от «белХ»
и до «течуереП» в стекле аптеки.

Откручивая время до нуля,
как счетчик в аритмической парадной,

меняет направление земля,
и глубже оседают тополя
в лебяжьем оперении парадном.
От площади, похожей на батут,
отскакивает в небо ливень прыткий,
и вид на город с глянцевой открытки
сужается, обозначая: тут –
где нам ситро в мурашках подают,
и маки у цыганки на косынке
вот-вот сгорят и снова расцветут.

* * *

Он подступает к яблоне близко-близко,
взмахом ее растерянным потакая,
будто она – турецкая одалиска,
девка нагая.

Прочь разгоняет кордебалет мушиный,
пчел за работой и муравьев на марше.
Трогает стекла, гладит капот машины,
движется дальше:

ниже – на цыпочках и озираясь, словно
остерегаясь ступы, метлы, петуний,
выше – поправить на голове церковной
шляпу колдуны.

То по-хозяйски, с мужественным терпением
старообрядца, раскольника, старовера
к бровке сметает газетные объявления,
скверну из сквера.

После свернет за театральный угол,
сил наберется, выплеснется на площадь
и горожан станет трепать, что кукол,
плющить, елозить.

Всех городских фонарей переклеит вкладыши,
в книжных проулках вынудит ждать погоды,
птиц – под карнизы втиснув, зевак – под ратуши
гулькие своды.

Копит, грозит: неба вкуси да выкуси!
 Но, проходя сквозь ветряные пальцы,
 не примыкай к толпе, не дыши, не двигайся,
 не раскрывайся.

Кто спохватился, тот за себя в ответе,
 и никаких поблажек или простоя,
 хватится сердца – поздно, пустил на ветер, –
 место пустое.

* * *

*Когда мы играли в войну,
 мне приходилось мириться с тем,
 что я вечный Гитлер...*

Вальдемар Вебер

Когда ты был Гитлером, я – была мальчиком Сёмой,
 типичным евреем, снабженцем суть тыловиком, –
 паря над Рейхстагом невидимо и невесомо,
 мы вместе победного флага касались тайком.

Когда ты дворами ходил, подавляя обиду,
 неся на портфеле начерченной свастики крест,
 я шла параллельно тебе – со звездою Давида
 на ранце – подальше от этих незыблемых мест.

Твоих уводили в Сибирь, погребали под снегом,
 моих на Днепре обращали в песок или дым,
 и нашим немецко-еврейским «недочеловекам»
 теперь безразлично, о чем мы с тобой говорим.

Все слышит и видит насильно растянутый ветер –
 от башенки Брехта до ведьминой башни в Клерво:
 какой-нибудь бабку мою искалечивший Гебер,
 какой-нибудь Варбер, пытавший отца твоего,

какой-нибудь общий из предков в Иерусалиме,
 какой-нибудь прадед, поволжский рыбак и батрак, –
 один по-немецки глаголил устами моими,
 другой же – твоими руками кроил лапсердак.

Есть общее «о» в генетической памяти стона,
как полый зрачок у поймавшего в щелочку свет,
я знаю доподлинно: мы появились синхронно,
а времени нет, да и светлого берега нет.

Мы молча стоим – в отдалении стихли баталии,
спустился с небес одуванчиковый парашют, –
и смотрим, как наши прогретые солнцем сандалии,
войну огибая, до самого Майна плывут.

* * *

А еще, бывает, под вечер выйдешь
на балкон раздышаться, скрутить цигарку, –
облака слетаются к автопарку,
предзакатный ветер вороний кипеш
вытирает ластиком, как помарку

на листе разглаженном, где подробно
ровным почерком – писарь, видать, не промах –
перечислено все, что душе угодно,
Лебедь-Лыбедь в шагах тридцати от дома:
наклонишься – и обернешься вот на

той земле, кресте перекрестка – тезка,
белый ворон в стае, то бишь ошибка,
ванька-встанька, тряпичный фантош на нитках, –
там, где время – рыба, пространство – лёска,
а в твоем предплечье – крючок с наживкой.

Эх, вода с лица, пластилин бесцветный,
с изолентой на роговой оправе,
я теперь и узнать-то тебя не вправе,
ни по жестам, ни по одежке бедной,
ни по Рикки и Тикки – двум кошкам – Тави,

ни по этой дурацкой твоей привычке
раздавать имена безымянным – пьяным
мужикам на ящиках и тюльпанам
на пришкольной клумбе, – по этой стычке
несчастливого с неприметным самым.

Я теперь живу хлебосольно, сольно,
на губах – светло, а под сердцем – влажно,

если спросит кто, говорю, довольна,
потому, что там, где красиво – страшно,
а когда не страшно, то больно-больно.

Так, в одной из – не сбиться со счету! – вотчин
схоронившись, состаришься понемногу,
на земле, на такой из ее обочин,
где, хоть чёрту в ступе молись, ей-богу,
наплевать, и то западен, то восточен,
выходя, как Лермонтов, на дорогу,
в пустоте бидоном звенит молочник.

Пролетит сквозняк по ночной квартире,
дверь запрешь, оставляя тепло снаружи,
и дверной глазок, что десятка в тире
или тетка недремлющая в ОВИРе,
на тебя уставится... Но не нужен
взгляд ответный: упрешь в потолок – и шире,
а опустишь долу – и уже, уже.

* * *

Оказалось, в раю из окон – созвон кастрюль
заглушают выкрики, радио, патефон,
то ли тень от клена, то ли взаправду клен
прикрывает собой котов, воробьев, бабуль –
всех кормимых и всех кормящих – со всех сторон.
Налетают центростремительно пацаны
на едва испеченный потрескавшийся пирог –
по привычке, поскольку мертвому хлеб не впрок:
есть прапамять рук у голодных детей войны
и прапамять губ, по которым лишь мед не тек.

Ушипни меня, я не верю, что Мотька жив,
что стоит, улыбаясь, целится в голубей,
то прозрачные пальцы а-ля пистолет сложив,
то меча в пернатых невидимые ножи, –
а вообще он ласков, хоть бей его, хоть убей.
У него виски – темней берегов Днепра,
у него глаза – полней берегов Невы,
у него меж ребер плывут косяки плотвы,
вот сейчас он объявит, лыбясь: «Иду на вы!» –
и пойдет гонять – до вечера? до утра?
Здесь одна пора: не-сносить-тебе-головы.

Говорят, будто Бог любит белый: бинты, крахмал,
маскхалат, ангелок стерильнее медсестры...
Если Мотеле выдыхает в окно овал, –
на стекле распускаются сказочные цветы:
белокрылый лютик, стебель под ним – коралл.
День-деньской в раю такой снегопад – отпад,
вдоль дорог свернулось топленое молоко,
чуть лизнешь вершок мифическим языком –
и пойдут по воде кругами: роддом, детсад...
Мотька смотрит так, будто в смерти снег виноват,
но в таких снегах лежать-не дышать – легко.

Я ищу на холсте зацепку, изъян, пятно,
Мотла мама зовет – вот он, света ломоть в руке, –
и когда она затворит наконец окно,
то последний голубь взлетит, уходя в пике,
схлынет двор-колодец, урча и мелей... Но
жизнь сгущается – медной ложечкой в молоке,
на зубах песком, липкой мухой на пироге,
поплавком в воде, членоком по реке вверх дном, –
жизнь качается за ночной занавеской, где
живь темным-темно.

* * *

Забудешься, и не исключено,
что сбудется, завертится кино,
прожектор – трус, его приставишь к стенке,
и он, бубня, сбиваясь, лопоча,
покажет дворик, осень в три ручья
и прочие затертые нетленки.
Нет, лучше вытри этот пошлый флер,
плесни из кухни тихий разговор,
«немного дыма и немного пепла», –
попытку в передержанную речь
всю кухню, словно куколку, облечь,
хоть свет погас и куколка ослепла.

Прожектор – прост, и он бежит кривизн,
всех коммуналок неореализм
на острый луч нанизывая ловко,
сюр-арт ракит, похожих на старух,
что многоруко отгоняют мух,
жуужжащих над невидимой похлебкой.

Да будет мир, мы говорили, – мы
на перепутье смерти и зимы
твердили, горячаясь, и не такое:
мол, если май перековать на труд,
сад зацветет, но ласточки умрут, –
а нам не жаль, нам недоступно море.

Прожектор жжет, выхватывая – то
на вешалке обмякшее пальто,
убитое гвоздем, забитым в шею,
то комнаты стандартный интерьер:
диван-кровать, кивающий торшер –
и Трифонову, и Хемингуэю.
Соседских баек бархатистый вздор
вливался в окна спальни, а со штор
лимонницы глазели многоокко, –
вот их запомни, втиснутых тогда
ударницей текстильного труда
в застойной жизни скромное барокко.

Так моря ждешь, полей, лесов и рек –
чем там еще свободный человек
в часы досуга развлекает тело? –
так ждешь, что больно ширится зрачок:
прожектор – светлой памяти сачок,
лови, лови, пока не улетела!
И мне не страшно, сколько ни крути,
жизнь досмотреть – не поле перейти, –
как можно поле увидать из кресла?
Но странно вдруг за световым пучком
себя узнать не в девочке с сачком,
а в бабочке – летит, летит, исчезла.

* * *

А что от человека остается?

А. Кабанов

От века от простого человека
немного остается – четвертушка
от облика: плечо, ключица, веко,
край одеяла, смятая подушка.

Жена в помаде, женщина в халате,
но человеку, право, одиноко
и все равно, кто у его кровати,
о чём, с какого причитает бока.

У человека дети,тише,тише,
конечно, есть, не всё горох об стену,
глядят, как ворон на соседней крыше
кленовую прокалывает вену, –

ни дать, ни взять с пернатого провидца,
он похоронных церемоний мастер.
От человека – други, сослуживцы,
на дне стола потопленный фломастер,

альбом, бим-бом, он счастлив, мальчик-с-пальчик,
он рядовой, безусый и сопливыЙ,
программки оперетты, Мариачи,
долги, счета, просроченные ксины.

От человека остается много,
лишающего права человека
на подлинное имя, он – «Серега
с Русановки», он – «с Оболони Жека».

Останутся – под пластирем уколы,
подобранные нянечкой простынки,
и, детства ради, иглы радиолы,
царапины на битловой пластинке.

Когда стемнело, песенка допета,
расслаблены запястья и коленки,
со стенки сходят люди Тинторетто
и человека припирают к стенке.

Сойдясь в кружок на сумрачное вече,
они не расточаются на жалость,
упорствуя: «Скажи нам, человече,
что от тебя, по-твоему, осталось?»

Он волен крикнуть из дыры колодца
и пальцем указать – вот это! это!
Но он молчит. А то, что остается,
от мертвого не требует ответа.

* * *

Я жила в деревне, молчком и тишком, как все,
как живет трава во дворе и опавший клен
на такой срединной, заезженной полосе,
где скрестились восток и запад, борей и фён.
Ошалев – от звезд ли, от вымыщленных светил, –
через яр, где дрейфуют вербы, поджав хвости,
мне ударник Скоробогатов цветы носил,
полевые, как тот писатель, огонь-цветы.

Я влезала в холод, с чужого плеча пальто,
шла, бычок качаясь, по досточеке вдоль реки,
первомайский тезис герани в стенах сельпо
подбирали с пола и множили мотыльки.
Отдавала kleem почтовых услуг слюна,
в раздвижном окошке пестрела спина писца,
главпочтамт – что кремль высок, а вокруг стена –
расписная марка в «не подходи!» зубцах.

Зря меня голубкой прозвал птицелов-завхоз,
уверял, что носила письма, но всё не так,
я листву носила, безадресный листонос,
каждый божий ящик – пустырь, буерак, овраг.
Спотыкаясь в спешке, поди, не чужих кровей,
шла к былым рыбачкам, спускалась к сырой воде,
почерневшим бабам читала про сыновей,
светлоглазых мытарей, сгинувших знамо где.

Мелюзга кричала: «Чучело! Краснотал
руки-ноги твои, башка твоя котелок!» –
им внимая, Скоробогатов цветы топтал:
оказалось, его божок от меня далек.
И когда говорили, «сожги, потеряй, порви», –
с вестью спутавшим вестницу, выжившим из ума
я несла, потому как нет без письма любви,
без любви письма.

Наталья Резник

УВИДИМСЯ В РАЮ

* * *

Мое пальтишко в клеточку
На вешалке ищи.
Мою с картошкой сеточку
На кухню затащи.

Мою зарплату скучную
На столик положи.
Про жизнь свою паскудную
Под водку расскажи.

Газетки да журнальчики,
Программы новостей,
Ах, девочки да мальчики
Без собственных детей.

Квартирка коммунальная
В комплекте со страной.
Америка двухспальная
В галактике иной.

Картошечка сопливая
Да рыжая вода.
Действительность счастливая,
Теперь и навсегда.

Давай, держи, кудрявая,
Равнение в строю.
Мы со своей державою
Увидимся в раю.

ДАЛИЛА

Тяжелый день сегодня у Далилы.
Хватало ей с евреями грызни.
Уже, казалось, все мосты спалила –
Опять пойди Самсона соблазни!

Пускай падет, лишившись чудной силы,
 К твоим ногам доверчивый еврей.
 Стенай, взыхай и лги ему, Далила,
 Старайся ради родины своей.

Что ищут в страсти глупые мужчины,
 Да лила, что они находят в ней?
 Прильни к земле горячей Палестины,
 Она мужчины всякого нежней.

И у меня земля была, Да лила,
 Мучительный и невозвратный сон.
 О, боже мой, как я ее любила!
 Так, как тебя желает твой Самсон.

Я у добряла нежностью коровьей
 Холодный край березок и осин.
 Но из бесплодных выросла любовь,
 Из Палестин, Америк и Россий.

* * *

Только взяли по сто
 Выпить за страну,
 Как Елагин остров
 Двинулся ко дну.

Нет прекрасней спорта –
 Вместе со страной
 Задохнуться к черту
 В толще водяной.

Горе – на бумаге
 Пережить страну.
 Утони, Елагин,
 Обратись в волну.

.....

Где по Петроградской
 Ходишь стороне,
 Там мой город адский
 На далеком дне.

* * *

Он был сутулый и ревнивый,
Кусал подушку по ночам,
Но вид небрежно-горделивый
Его наутро выручал.

Он днем веселый появлялся,
Друзей веселых забавлял,
Курил, шутил и улыбался
И даже спину распрямлял.

И знали только ночь и стенка,
Его подушка и кровать,
Как он умел, поджав коленки,
Во тьму бессонно завывать,

Он был открыт и безобиден,
Весь на ладони – на, бери,
Когда бы кто-нибудь увидел,
Как он сутулится внутри.

И мне за плечи осторожно
Его обнять не суждено.
Я б рядом с ним была, возможно,
Когда б мы не были одно.

БАБОЧКА

У бабочки такая короткая жизнь:
Только родишься – уже пора на покой.
Давай, бабочка, живи, летай, торопись,
Люби бабочку, бабочку, пока молодой.

У нее в дрожащих устах сладчайший нектар.
В мини-груди нерозданное тепло.
Пока не смертельно болен, немощен, стар,
Хватай крылом трепещущее крыло.

Куда мы ни мчимся, все – к одному концу.
Так мчись смелее, мой красавец лихой.
Щедрее трать серебряную пыльцу.
Завтра ты станешь бабочкой трухой.

Трухой и пылью ляжешь в наших горах
Под глупым и свежим безымянным цветком.
И я, поливая слезой насекомый прах,
Знать не смогу и не буду, плачу о ком.

Евгения Джсен Баранова

ПОБЕГ ВОДЫ

ПРИСТУП

Сначала шрифт пойдет курсивами,
а после сердце занырнет,
туда, где лыжники красивые
с ботинок отбивают лед.
И так румяно им и льдисто им,
и так морозно мне дышать,
что вспомню тени волокнистые
на Черноморской, 45.
Шелковицей давлюсь ли, смехом ли,
машинки ль собираю в ряд.
А лыжники твердят: «Поехали!»,
голубоглазо так твердят.
Увижу очередь с авоськами,
водой из «вальтера» пальну.
Где детский парк «Ласкаво Просимо»
и почему нельзя вдохнуть?
Кто в дом принес котенка рыжего?
Кто ел до завтрака халву?
Как близко проскользили лыжами!
Я замерзаю.
Я живу.

* * *

Взрослых не существует, – говорит Николай Алиске.
Алиска кивает, просит сушеных фиников.
Кто, как не дети, в долг дают без расписки,
карамель похищают с блюдечка в поликлинике.
Кто, как не дети, в офис проносят пиво,
верят обрядам, лечат обиду матом.
Николай продолжает:
вырастешь – станешь лживой,
как Гулия Аркадьевна из десятой.
И будешь – ворочаться гулко во чреве спальни.
И будешь – домой возвращаться как можнотише.
Алиска согласна. Ей хочется торт миндальный.

Ей хочется к маме.
Но Коля ее не слышит.

* * *

Над жизнью плачет индивид,
а дом его клюет,
жестяным носиком стучит,
бурчит водопровод.
Куда-куда ты уходил?
Куда-куда пришел?
А человек ревет, дебил,
ему нехорошо.
Прости, он дому говорит,
я шел, куда нельзя.
Я наблюдал метеорит,
выпиливал ферзя.
Я вырубал газетный лес,
я не жалел подошв.
Я добирался, я воскрес,
зачем меня клюешь?
Затем что slab, затем что впрок,
затем что жизнь легка,
что тишиной изъеден бок
и твой, и пиджака.

* * *

Коснувшись мокрого плеча,
гадал на гуще перекресток.
Добром хотелось отвечать
на слякоть сумерек бесхвостых.

Что прятал осенью под лед,
перебродило, заиграло –
теперь шуршит, скрипит, поет
и раздражает поначалу.

Теперь хоть яблоком хрусти,
хоть вспоминай жильцов нездешних,
 побег уже неотвратим,
как неизбежен рост черешни,

как встреча с водкой забулдыг,
как сон любовников усталых...
Побег воды, побег воды
из чашек белого вокзала.

ХВОЯ

Я вот все думаю: сосны ли солнце казнят?
Кровь или краска дрожит на зеленых заборах?
Матушка-хвоя, возьми мое тело назад,
плечи укутай в коричневый шелест и шорох.

Эллином дивным воспрянь над моей пустотой,
слизывай глину с ногтей одичавших пожарищ..
Кем бы ты ни был, деревья придут за тобой.
Что, кроме плоти, ты нежному лесу подаришь?

Бронза и уксус, художники и корабли...
все исчезают, хотя заслужили иное.
Я вот все думаю – долго ли, коротко ли.
Не отвечает медовая матушка-хвоя.

Катя Капович

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Мама, не беспокойся,
я теперь экономлю,
не останусь я вовсе
перекатною голью.

Не останусь я нищей,
не останусь я голой,
соблюдаю приличья
в этой жизни веселой.

Это раньше по дури
от тоски погибала,
посмотри, как я пулей
через рельсы и шпалы.

Посмотри, моя мама,
как на велосипеде
я гоняю упрямо
на пустом этом свете.

* * *

Погубят жалостью родители,
родная мать, родной отец,
два бестолковые учителя
с валокордином для сердец.

В стране с тупою диктатурой
отец родной, родная мать
с двухкомнатною кубатурой
так долго будут умирать.

Ходить утрами на работу
и забегать на пять минут,
чтоб макароны бросить в воду,
чтобы сказать с полоборота,
что поздно вечером придут.

* * *

Будем плавать наперегонки
до буйка и к берегу обратно,
а зимой наденем мы коньки
с правильным названием «канадки».

Будет от фонариков светло
и темно, и вновь светло навеки,
прилетит тарелка НЛО,
выпрыгнут смешные человечки.

Принесут бутылку коньяка
в новогоднем праздничном наборе,
возвратимся вечером с катка,
пусть тебе приснится горы, море,
берега, большие облака.

* * *

Ветер подул, ветер подул,
вот и кончается месяц июль,
с желтой акацией, с белой
над головой очумелой.

Ветер подул, всё унес в небеса,
будет гроза, будет гроза,
будет и кончится скоро,
мчат по бульвару моторы.

Счастье и горе идут налегке,
что на уме, то и на языке,
том, на котором сказалось:
ветер подул, жизнь промчалась.

НА БЕРЕГУ

На берегу во всем парадном
лежал покойный в камышах,
казалось выросшим, нескладным,
не влезающим в родной пиджак.

На белом лодочном причале
была протянута канва,

в толпе свидетелей искали,
и люди мямлили слова.

Два полицейских в сером сквере
так тщательно искали след,
чтоб свет пролить в какой-то мере,
хотя какой уж это свет.

Мы все со смертью жмурим в прятки
и бегаем наперебой
по черной уличной брусчатке,
в асфальт ударили головой.

Испорченное воскресенье
без белых лодок напрокат,
и кто-то произнес в презреньи:
ужо добегался ты, брат.

Вокруг вода цвета бутыли,
песок, похожий на песок,
и странно так глаза застыли
под веками наискосок.

* * *

На пустые задворки ума
налипает отчаянье марта,
как на прямоугольник письма
налипает почтовая марка.

Так ему оболочки тесны,
потому и напрасны старанья
о прошедшем узнать со спины
по избыточной силе молчанья.

Но в молчании том уже есть
составные частицы сюжета,
что, включая оконную жесть,
март достанет потом из конверта.

* * *

Ты мне снился обычный, веселый, худой
и во сне этом ты расправлял одеяло,

улыбался с какой-то смешной добротой
над полоской истрапанного матерьяла.

Я любила тебя больше правд и неправд,
где мы счастливы были с окном в бездорожье,
с фонарями, расставленными невпопад
гуталинною ночью с дождливою дрожью.

И во сне, вспоминая твою красоту,
я вставала до раннего белого часа,
снова ставила чайник с водой на плиту
в старой кухне с окном на погоды гримасы.

И я знала, где клены стоят наголо,
если жизнь – сон короткий по сторону эту,
то лишь смерть – в перспективу природы стекло
с серой каплей дождя, с белой каплей рассвета.

БАЛ

В доме для инвалидов и бедноты
администрация организует танцы,
тихо идущий кварталами темноты,
остановись чуть в трансе.

Сдвинувши в аудитории семь столов,
в зале пустом и длинном
тихо плывут они средь других миров,
пахнет духами, пудрою, стеарином.

Движутся пары по кругу в вечерний час,
черные туфли стучат в молодом задоре,
черные брюки, белый сухой атлас,
и отступает горе.

Кружится неунывающий инвалид,
старым протезом в плиточный пол стучит он,
кружится старая девочка, тень на вид,
век наизусть зачитан.

Старый рояль фирмы «Стейнвэй энд санз» поет
что-то про счастье и встречу, и взор туманен

той, что ходила в гимназию, грызла лед,
чайная роза, где Игорь твой Северянин?

На одинокой салфетке плывет эклер,
твой кавалер таблетку разгрыз в буфете
и танцевальной походкою входит в дверь
в ясном холодном свете.

Олег Хлебников

«ЗДЕСЬ» И «ТАМ»

* * *

В раме оконной Полярная звезда,
и больше ни одной звезды не видно.
И так одинока она и горда
своим одиночеством – даже завидно.

Я вот одиночеством своим не горд,
хотя к нему стремился с большим упорством.
Пушкинский завет уже который год
блюду и упиваюсь своим геройством.

Вдруг звезда Полярная подмигнула мне,
и тут увидел я – на миг, но ясно –
россыпь звезд с ней рядышком в моем окне.
Хоть большинство из них давно погасло.

* * *

Только едва прикоснулся
к женщине доброй, к стране
теплой – и тут же проснулся:
мне это не...
не предназначено или
не по зубам,
точно меня зарядили
только на «там».
Здесь же – ну, не получилось.
Лишь на попытку одну
есть еще времени милость –
может, взбрькну?

ДЕКАБРЬСКИЙ МОНОЛОГ ПЕШЕХОДА

Все козлы, кто ездит быстро,
обдавая грязной кашкой
пешехода, что на выстрел
не отважился пока что.

Но отважитесь, поверьте, –
надоело, что унижен.
И тогда у вас до смерти
расстоянье с эту жижу!

А по времени примерно
этак месяца четыре...
Только в мае я, наверно,
буду жить в труде и в мире.

Расцветут сирень и вишни
в садике у дяди Вани.
И покажется не лишней
сотня лишняя в кармане.

С ветерком – хоть на бомбите –
долечу тогда до дяди!..
Мы однажды жили-были,
друг на друга косо глядя.

* * *

Анне Саед-Шах

Жили с Божьей помощью,
только Он не помогал
и при том, при том еще
испытанья предлагал.

Типа, если выживете,
будете как в масле сыр
и до смерти выживете
из последних слабых сил.

Мы старались, верили,
что все лучшее у нас
впереди – не ведали,
как нам хорошо сейчас.

09.02.2018

Света Литвак

ЛЮБОПЫТНЫЙ ПАЛОМНИК

* * *

Когда испытают модель донага,
И плавно под кожу проскочит игла,
И только намокнут колечки на лбу,
На долю минуты она улыбнулась.

Три ночи на столике белым стеклом
Туманно-холодным хранилось тепло,
И стебли растений, слабея ко дну,
Тянули бесцветную глубину.

От желтого дыма неверно тонка,
По спинке дивана скользила рука,
Лениво ломали рисунок ковра
Неточные линии рукава.

Цветами теней покрывая диван,
Две белые лампы цвели наизнанку,
За листьями пальцы виднелись едва,
Травою волос колыхалась трава.

ПУТЬ ПРОБУЖДЕНИЯ

Поющих весенних садов
И лесов
Путешествуя мимо,
Наблюдая в причудливый час,
В этот час
Одни мы.

Как сейчас, но гораздо сильней
С близких полей
Ветров томных,
Там проходит один
Неприметных святынь
Любопытный паломник.

Сонный взгляд за собою влечет
 В тихий полет,
 Выгнув спину.
 И случайные сны проронив,
 Он лежит среди нив,
 Опрокинут.

И в руке, золотой на просвет,
 Семь прозрачных монет
 Приготовил как будто
 Для неспешной еды,
 Для прохладной воды,
 Для вина и для фруктов.

* * *

рябит лохмарьев пестрота
 лохмат гнусавый сирота

тяжел лежит жаровен чад
 пустые чучела кричат

перед костром обжорой гнусь
 моей рукой ощипан гусь

прынут локтями толпы прут
 хруст в челюстях терзает труп

записывай и шип и писк
 песком и перьями скрипи

гнусавый сирота не в счет
 я гусю вторю, истощен

* * *

Собачий лай, бесовский ветроплюй,
 Озnob природный, злобная погода,
 Взыгравший в поле вихорь гонит воду,
 Боюсь воды проклятой разолью.

Страшней раздолья громкий птичий клюй,
 Приветствующий мерзлую свободу,

Собачий камень бросит прямо в морду
Недюжинный голодный поцелуй.

Лиши пуще холод, громче крик и дрожь
Сливают вой в один собачий голос,
Слышней возня, собак ты не уймешь.

Нелепым страхом плещется колодец,
Из темноты навстречу шаг шагнешь,
Рукой о гвоздь торчащий укололась.

* * *

сухие листы бересты
скрипит абрикос кипарис
по краю прямой колеи
топорщится куст алых
опять изменился маршрут
пока мы уверенно шли
по правилам нашей мечты
коротких свиданий в ночи

Алексей Остудин

ЧТО-ТО ВАЖНОЕ СМЫТО С ХОЛСТА

КОЛДУНЬЯ

Сравнения хромают, но спешат,
пора податься в тайные агенты,
чтоб марганцовку с магнием смешать
и обмотать кусками изоленты,

пройдусь с такой хлопушкой, начеку,
а ты, воображала, будь любезна,
дай покурить грузинского чайку,
плесни пивка из украинской бездны,

нас судорогой времени свело
и вяжет до конца в одной заботе
поймать в потемках фосфор за светло,
как маску в неисправном самолете,

где с потолка струится керосин
и бортмеханик, взвешивая риски,
с мельдонием виагру замесил,
чтоб у врагов отсохли олимпийски –

ты понимаешь, ласковая, пусть
кто впереди – всегда получит сзади,
кому приятна выспренняя грусть,
когда страна то в жопе, то в засаде,

наворожи мне сытости в тепле,
затылок что-то стынет после стрижки,
оставь немного места на метле
для призрака вчерашнего мальчишки,

который, как и я, затерт во льдах
истории: монголы, печенеги...
и счастье не в покое, а в ладах
с тобой в горящем сене на телеге.

ИНФЛЮЭНЦА

Слышишь, в каждой избушке «апчи»,
видишь, облако плавает брассом,
наконец прилетели грачи,
только их не дождался Саврасов,

что-то важное смыто с холста,
на дрожжах поднимаются вербы,
вот и жизнь безнадежно проста,
чтоб о смерти не думали смерды,

нищий нищему «Брат, – говорит, –
поспешай, а чего тороплю-то...»
по карману стучит, не звенит –
только семечек криптовалюта,

оторви его или зашей –
не отвяжутся семеро с ложкой,
и весна, разрывная мишень,
пробегает беременной кошкой,

ничего, что хватили лишка
за возможное счастье приплода,
и не колет овес из мешка
лошадиную морду народа.

СИЛА ПРИВЫЧКИ

Из модема выгнали Адама – торрент Евы скачивал взасос.
Месяц, словно ручка чемодана, к туче на колесиках прирос.
Посыпают звезды из солонки Эйфелеву башню без корней –
как у непослушного теленка ноги разъезжаются у ней.

Сена под мостом синей Сенеки, у химеры иней на хвосте.
Видеть сквозь опущенные веки мне удобней даже в темноте,
здесь любая статуя носата, то ли дело – в солнечном раю,
где не спят Роскосмос и Росатом, обнимая родину свою,

ласточки с весною в чьи-то сени прилетели брызгами с весла,
будто и не гложет червь сомнений этот мир, испорченный весьма,
будто не ослабла нить накала у всего, что двигает людьми –
ни старалась как, ни намекала на пустые хлопоты любви.

Милая, ты тоже заскучала над последним яблоком в меню.
Дочитаю Библию сначала, а потом, ей-богу, позовню.

БОДРОЕ УЛЬТРА

Огнетушитель приготовь, пока не вспыхнула рябина –
ей осень полирует кровь закатом из гемоглобина,
забейся в норку и – молчок, быть на виду – себе дороже,
где дятел, как дверной крючок, в ушко сосны попасть не может,

вся дичь, в предчувствии стряпни, ленивой и вдвойне пушиста,
расходятся кругами пни – следы от пальцев баяниста,
тяжелый заяц, на скаку, на двести градусов духовен,
печется, с дырочкой в боку, и блеет одинокий овен

в тумане моря, где облом гремит ведром из-под сарая,
в витрину упираясь лбом, замрешь, игрушку выбирая,
пришла пора в бутылку лезть, давить на клавиши штрихкода –
не посрамим былую жесть, родной захват для электрода,

торчит из ходиков орел, ему сто лет гореть в гареме,
на белку стрелку перевел и за цепочку тянет время,
мы за него поднимем лай в граненых рюмках, холода, –
давай, за статую, давай, опять за голую идею,

где банных шаек перестук, прилипший листик на затылке,
посмотришь с ужасом вокруг – одни буденновцы в парилке,
и, наблюдая молодежь, пока страна впадает в спячку,
с губы улыбку сковырнешь, как надоевшую болячку.

Анна Трушкина

ХРАНИ МЕНЯ, ГОРОД

* * *

Ты с нами, твердят мне знакомые двери,
иркутские окна, речные огни.
Ты здесь и пребудешь, мы помним мы верим
мы знаем, тебя не получат они.
Здесь холод здесь стужа здесь континентально
и резко и остро и больно до слез.
Зато безрассудно летально и тайно
вросло навсегда и с аортой сплелось.
Растаять на карла на маркса так сладко,
как прыгнуть с разбега в последний трамвай.
Храни меня, город, возьми без остатка,
всю выгреби мелочь, а горечь отдай.

* * *

На острие ножа, маковке декабря,
Кончике той иглы, что зашивает рот
Я удаляю кэш и захожу в себя
Пусть за моей спиной сумрачный лес растет.
Ну-ка теперь давай, поди меня поищи.
Утонет в меду оса, но будет прозрачным мед.
Я как улитка в мел, как диплодок в хвоши
Спрячу свой тайный свет, my personal “breaking bad”.
Куколка в пеленах, мертвый жучок в смоле,
В центре клубка из снов выпавший минотавр.
Как фигурист на льду, палец мой на стекле
Что-то напишет вдруг с летнею прямотой.

* * *

Каждый сам себе Синяя Борода –
Держит за косу, ключ за борт.
Каждый сам для себя года
режет в крошево, залпом пьет.
И туда не сметь и сюда не сметь,
или будешь наказан ты.
Желанья на третью и терпенья на третью,

и еще на треть суеты.
Лазурные волны зальют материк –
не пустим их дальше глаз.
Внутри нас заспанный злой мужик –
пусть все решает за нас.

* * *

Опрокинуться на спину
Как черепаха
Смотреть на солнце сквозь листья
Чувствовать тяжесть любви
Быть беспомощной
Пытаться перевернуться и не мочь
Такое вот счастье

Лилия Газизова

НЕСОВЕРШЕННЫЕ ЛЮДИ

Верлибр не свойствен русской поэзии. Когда-то я сам, лет в восемнадцать, написал два верлибра – и очень обрадовался. Потому что решил, что их писать легко и хорошо, и теперь вообще работы меньше, рифму искать не надо. С тех пор ни одного не написал. Оказалось, что писать верлибры гораздо труднее. Лилия Газизова это прекрасно понимает. Потому что все эти условности, к которым мы привыкли, в верлибре надо заменять чем-то другим. Чем – Бог весть, это пути не проторенные.

Автор предисловия к одной из книг Лилии обратил внимание на своеобразный синтаксис ее поэзии: глаголы в конце предложения, инверсии... Хотя я и не знаю казахского языка, но в подкорке что-то сидит. И с первого прочтения узнаю характерное для тюркских языков строение предложения. Которое звучит удивительно свежо по-русски, обогащает русский язык какими-то новыми интонационными ходами.

Стихи Газизовой просты на первый взгляд – в них мало претензии, нет особого драматизма. А если есть, то всегда с поправкой в виде легкой иронии. И при этом – широчайший лексический диапазон, богатство интонации, тщательная выстроенность стихотворения, незаметно подводящего нас, читателей, к парадоксальному финалу.

Бахыт Кенжееев

* * *

Осуждается татарский язык
За то, что посмел
Встать вровень с державным,
За то, что сумел сберечь себя,
За то, что «отца и матери язык»,
Эткэм-энкэмнен теле...

Одобряется татарский язык
В строго отведенных местах,
В строго отведенное время,
В строго регламентированных целях,
В строго отведенном объеме –

*Кечкенэдэн анлашылган
Шатлыгым, кайгым минем.*

Предлагается отказ от татарского языка,
Потому что не в тренде.
Потому что малое поглотится большим.
Потому что империя.
Потому что обречен.
*Ярлықагыл, дип,
үзем һәм әткәм-әнкәмне, ходам!*

И туган тел...

* * *

Несовершенные люди
Живут на несовершенной улице
Несовершенного города
Несовершенной страны.
Они думают несовершенные мысли
И делают несовершенные дела.
Ставят памятники
Несовершеным людям
И читают несовершенные книги.
Но их несовершенные дети
Не берут с них пример,
Они же несовершенные.
Вся надежда – на несовершенных детей...

КАПРИЗНИЧАЙ, СЫНОК

Спи, сынок.
Войны не будет.
Ни сегодня и ни завтра,
Никогда не будет.

Я потакать
Твоим капризам стану,
Смешить и утешать тебя,
И смазывать коленки йодом.

Ты вырастешь,
И ты поймешь меня.

Боюсь, поймешь меня.

Капризничай, сынок.

* * *

Бабушка шепнула мне,
Что я княжна.
И род у нас княжеский.
Но я была комсомолкой.
И засмеялась только.
Давно нет бабушки
И нет комсомола.
А я стала княжной.

КНЯЖНА

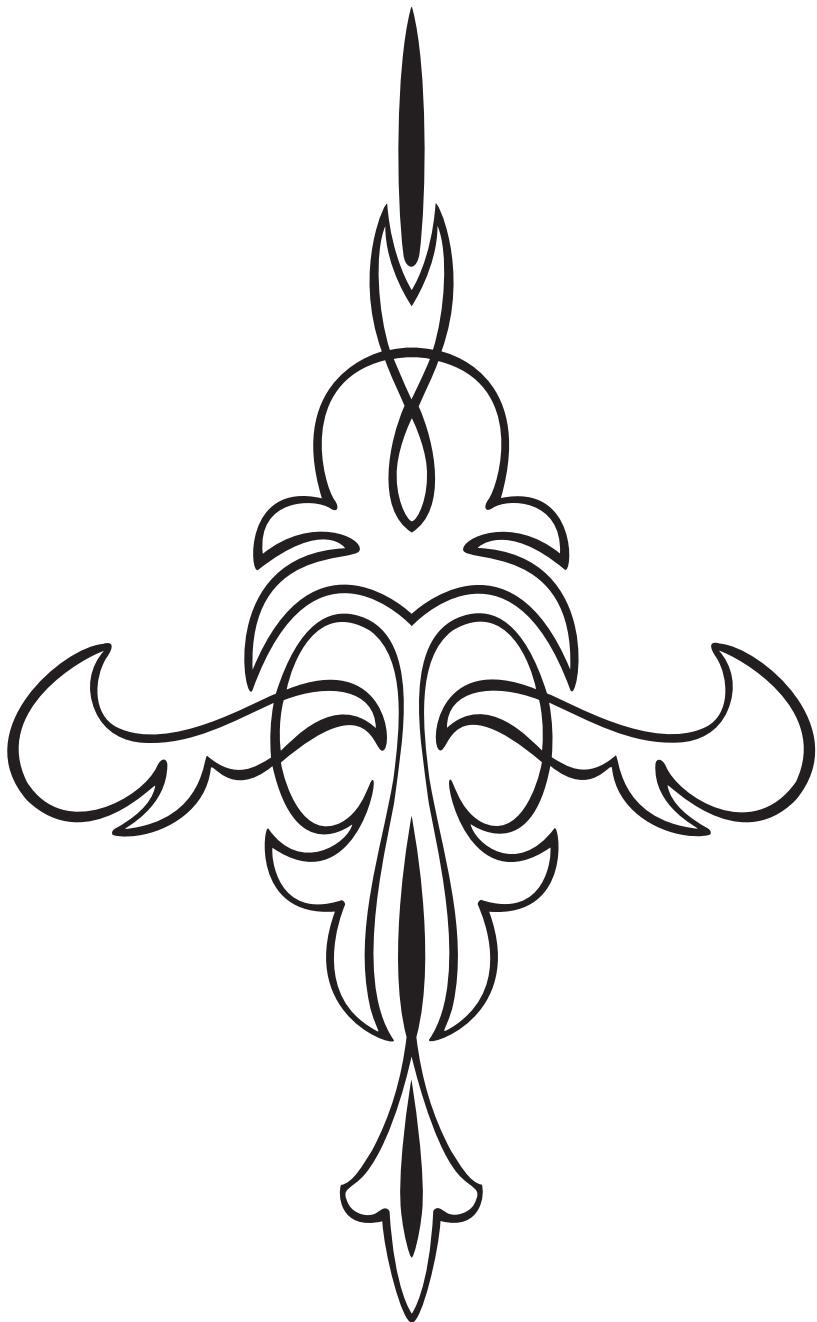
Непреклонно-невесомо
Я брожу среди людей.
Я в гостях всегда как дома.
Дома прячусь от гостей.

Улыбаюсь лишь глазами.
Оттого и не поймут,
То ли весело с друзьями,
То ли мне печально тут.

Я не верю в стойкость пены.
Старомоден мой язык.
И к речам моим степенным
Так никто и не привык.

Диковата, нелюдима.
И надменна, и смешна.
Я обломок пирамиды.
Я – татарская княжна.

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Шамшад Абдуллаев

ФОТОГРАФИЯ ЮРИЯ ВЕДЕНИНА «СТАРАЯ ШКОЛА»



Вечный, безвозрастный Моллой, бесцельно идущий всякий раз непонятно куда с упорством беспримесного намерения, которое сто лет у него наперед отсутствует. Он появляется на многих снимках Ю.В., посвященных монотонной общарпанности южного предместья, и множится в подобиях своего разноликого двойничества – иногда их несколько, неприкаянных Белакв, бредущих, как правило, слева направо и справа налево, расплетая и разминая мнимый боковой тревеллинг в своем маятниковом странствии; иногда он один промелькивает и застrevает в мимолетности своего разметанного на переднем плане безличья спиной к нам (как здесь, в «Старой школе»), словно стараясь стать еще раз Никем и не числиться физиогномической поживой пространственного бес-

формия, – перемещается в немедленном полуобороте куда-то в прямоугольную темь, в манящий его средь бела дня дверной мрак, подальше от зрителей, чтобы они не мяли его постными пятками своих буравчатых глаз. По сути, он всюду чужанин, и вездесуща его одинаковость: стоит ему выйти за кадр, как на участке, где недавно мешкала его заметность, образуется как ни в чем не бывало зыбкий след монтажного стыка, существовавший до его выделенности именно в этом срезе нашей слежки и смеющий впредь тоже длиться. Как раз такая пришибленная укромность малых окраин провинциальных городов соразмерна своей среде и совпадает с неминуемостью своего обитания, но в мегаполисе, в больших столицах она смотрится неестественно, нарочитой заботой о дешевой вычурности не-родного имущества, добротно вышколенным суплером захолустной меланхолии, нарушителем неких ключевых свойств сугубо эндемической эфемерности, которая не дастся в руки въедливой преемственности дотошных имитаций. Тем не менее Веденин вроде бы в упор не видит эволюционного азарта стремительно меняющихся и постоянно набухающих дурных масштабов, но наделяет их первичной, шершавой, всеохватной, периферийной натуральностью, будто его визуальный эпос повествует об одной и той же забытой богами, автохтонной, тактильно здешней *tierra sin pan*, об одном и том же ветшании тусклого, топографического дурмана. Он снимает Место, одно и то же, в то время как многих других «солнцепоклонников»¹ и добытчиков кадра на этом же юге интересуют места как исключительная возможность уличить некоторые фрагменты привилегированной материи в редкой зримости. Ю.В. снимает главным образом окраину как прибежище и локальное беззаконие самоотрицающих элементов, где взор не может остановиться на чем-то одном в этом рассеивании верткých эпицентров, в сплошной текучести, которая гарантирует породу и стиль просто усилию видеть внутри фамильярности наглядного. Такое ландшафтное чурание и такая отдельность не требуют от нас знаний или жизненного опыта, но лишь – умения отстраниться от внешнего до той черты, за которой сам воздух преподносит наблюдателю предназначенную только ему комбинацию некой иррациональной точности. Вдобавок у Веденина бесперебойность обыденного доведена до галлюцинаторной невзрачности, являя собой материал нашей общей судьбы и исчерпанность любого обетования в местах, где тебя все время кто-то окликает. Автор в подобной обстановке не обязан делать вид, что он любуется атмосферой пригородной преисподней, которая смахивает на прступившую вдруг сквозь зной фотографическую Киферу, притворившуюся кошмаром ниц-

¹ Фотографы должны благодарить Бодлера за это презрительное прозвище.

шанского полдня. «Воздух ада не терпит гимнов» (Артур Рембо). Однако тут все-таки воздают хвалу падшей маргинальности. Так что речь в данном случае вправе идти о благословении скудостью и нехваткой, о столбняке согбенной фигуры за мгновение до ее левитации. Только в такой тесноте дальнего притяжения, в котором иссякла ширь земного радужия по горизонту, в тупом углу узкой зажатости внезапно тончайшей нитью брезжит вертикаль, доступная незнакомцу, сломленному, худощавому серкамону именно сейчас своей молниеносностью. Тем самым опасность (в которой копится спасение, по Гёльдерлину) обнажает источник эманации и волевого представления. Сперва чужжанину предстоит уход в темный провал, где ему неизвестные силы покажут несчастье видеть все слишком ясно; после чего, вероятно, состоится воспарение к беспамятству алмазной имперсональности, как обещало в медитативном забытьи «ужасное дитя» французской поэзии. Фотография словно длится рутинную и безлюбую изнанку той картины, которая в глазах всякого верующего должна быть последней, как эсхатологический пароль. Это скорее мирадж в ал-Исле, чем «Один сезон в аду», скорее надежда тупикового самоумаления, чем долголетняя безысходность модернистского нарциссизма.

На других, близнечных, снимках Ю.В. статуарность персонажей (даже в их самозабвенном шагании, в их порывистом, угловатом движении) четкой чеканностью мизерного напряжения всегда на йоту опережает окрестное оцепенение бетонно-кирпичных развалин и кустисто-мусорной рухляди какого-то не возникшего лэнд-артовского действия, вцепившегося в останки рухнувших мазанок и панически близких руин. Эти фантомные бродяги, куцые слепки мутного изгнанничества, марионеточно послушные номадические недомерки, непременно куда-то спешат, оснащенные безымянностью, точно по сю пору не родившиеся, торопятся вслед за кружащимся барабаном в рапиде недомотанного шествия, заставляя принять вовсе не черты их зреющей с годами единственности, но неотвратимую бесхозность универсального скелета. В решительной анемичности их походки кроется неустранимая осуществимость безволия, трудная и далекая адресность фотогеничных терний, будто инсультно-усердным, каллиграфически незрячим маршрутом этих асоциальных лунатиков манипулирует само неизобразимое, в котором дублирующие друг друга сцены без лоска, без неореалистичных гримас, без защитных условий грезящейся ретроспекции несут в себе сиюминутно свою собственную непрописшедшесть. Те, кто снят со спины (слепые?), наверно, имеют усы (уцелевший анахронизм, напоминающий о ненужной метке вымороочной цивилизованности), которыми, кажется, они вынашивают свою ходьбу, как уховертки. Другие, снятые в профиль (куда словно

вставлены их же глаза, сразу два, у правого либо левого виска) или дистанцией наполовину скраденным лицом на среднем и дальнем плане, – они, выдохшиеся и хиппующие выкидыши узбекских полупустынь, личночной стертостью тмятся сквозь эллипсоидную линзу, сквозь безблагодатный объектив и не таят важность уникальной необязательности быть явным. Короче, в цепкой серии фотографических эклог Ю.В., возвращающих опыт смотрения к сердцевине, к темпераменту особого пейзажного субстрата, к стержневой нейтральности, к навыку неопределенности созерцаемого обихода, – в этих заданиях, словно вторящих друг другу, по крайней линии и без того миметически однолюдной (максимум двух-трехлюдной), мерцательно-сернистой ойкумены к зрительному центру наползает зубчатый геометризм как предчувствие урбанизированного похмелья – мосты и колонны, не тыкающие в увиденное, но перерезающие его по низкой, бреющей полосе, ссылаются на родченковский обратный план, попавший впоследствии в zoom Джанни ди Венанцо во сне Гвидо Ансельми.

Тем временем человек в «Старой школе» тоже снят к нам спиной. По земле на этой фотографии прорисью тянется непоруганная неподвижность пыли, готовой выдать зрению, как оттиск, как эпитафию, культурный слой доисторических поселений. За кадром едва ли раскидан амарантовый, красно-коричневый кизяк, что навел бы на мысль о цвете загорелого этруска. Мы у порога монохромного окуляра и черно-белой магмы этого не узнаем. Но кое-что все же надо представить. Изображение тут ни на что не опирается, лишенное беллетристической почвы и удобной предыстории древнего узнавания. Гипнотизм тихой гадательности этот снимок излучает внутри себя за счет разрыва, намекающего на безошибочную нечаянность так и не дерзнувшего состояться диалога между вызовом и безответностью. Причем автономность как бы сновиденческой элементарности этой работы усиливается также благодаря добровольной, поведенческой замкнутости Ю.В., которому, судя по всему, претит собрание имен и групп с общностью радикальной эйфории. *Футуристы* (вместо них нетрудно вообразить любой другой феномен спиритуального братства) – стая школьников, которые сбежали из иезуитского прихода, устроили в соседнем лесу небольшой дебош и под кнутом лесничего были сопровождены обратно, как полагал Антонио Грамши. Вот пример нетерпимости двух оппозиционных идеологем, экспериментально-авангардистской и народно-марксистской, отвергающих с одинаковым буйством, как кошмар, элегический квиетизм, отдающий отчет в своей плодотворной обделенности на плотном фоне исторической предрешенности и детерминант. Между тем человек люмпенского вида поворачивает к мглистому провалу зияющего подъездного

входа, согбенный «милостью наказания» (Хуан де ла Крус), зачумленный бастард архаичной пролетарской пагубы. Где находится этот депрессивный пейзаж? Где угодно. В петляющем закоулке контрабандного Харрара, где шарлевильский демон однажды ощутил нождачную боль в натруженном колене; на Путеоланской дороге, где сегодня шуршит солончак под жарким ветром; на костицом привале дикой Остии; в развалинах Сагры; где угодно. Просторный, выщербленный просцениум, обернувшийся жесткой пустошью, молчит, покрытый людоедским песком, который, по слухам, умеет хранить секреты. В картине угадывается, в принципе, флюидная двойственность, присущая метисской местности, которая вобрала признаки сельской аморфности и битые, полые пожитки белесой, тягучей деградации промышленной оседлости. Внизу, в сторонке, увязли в сорной сепии комья несъедобной манны небесной, сухие струпья пустошных медуз – на самом деле просто мелкие, серые камни, обреченные остаться нетронутыми. В придачу валяются кругом обрывки блеклых предметов, не пригодных для употребления, но сохранивших приметы полуистлевшего покоя и чуть ли не эстетического наваждения: асфальтные зерна; микроскопические ломти ташистской замазки с облупившегося фасада; цементная пыльца, налившая матовой осыпью, как рой бесцветной саранчи, на школьную площадь без всякого взрыва и всхлипа; ломкая лепнина, некогда крупная и плотная, украшавшая монументальный, патерналистски твердый терем советско-узбекской балиллы времен партъездов и усман-юсуповских кителей; штукатурное крошево, на которое уже не падает свет из семи окон (два затянуты желчным, допотопным тряпьем), погасших, как давно смятые, потушенные далью сигнальные костры просветительской амнезии (дух дышит *не* где хочет) – вещи вырождающейся визуальной витальности, вкопанные в ими же подстроенную заметность и выхваченные зоркостью некоего чудом выжившего картье-брессоновского вестника из туркестанских подворотен. Этот эпизод, снедаемый мгновенной событийностью, щадящим, вкрадчивым утешением материинствующей призрачности, рискнул бы, пожалуй, свидетельствовать о поэтическом исследовании самой манеры исследования этого исследования, если бы не пристальность, диктующая наблюдателю оставаться полнокровной и туристской заурядностью, в недрах которой скопился массив неподключенности в настырность акта и любой разновидности расчета (ни становления, ни потакания своей податливой, бесславной жертвенности, ни даже инерционно безмысленного кайфа). К тому же безлико-туркскому клошару с отметиной пыльного пинка на мешковатых брюках никак не удается чуть шевельнуться, сдвинуться на дюйм вправо, чтобы попасть в проем уютного мрака (дайте ему факел взамен баварских генци-

ан). Такая с оптической деликатностью выставленная напоказ аутсайдерская деталь в отчетливости дневного удушья читается как то и дело не свершающийся риск бескровной пассивности. По блаженно долгой точности несовпадения сутулой позы путника с прямоугольником темного дверного прохода улавливаешь занозистый затор зрения, вестибулярный промах повествовательного узора, связанного с неразгаданностью ситуативно необязательного исчезновения героя или героини, – исчезновения, остающегося одним из основных инстинктивных мотиваций визуальной поэтики («Приключение», «Все на продажу», «Грузинская хроника 19 века», «Нелюбовь» и др.). В довершение всего, в глубине кадра, справа, выжидает вуайера, как нежить сливочно-светлой масти, как соглядатай нашей коллективной агонии, белая машина (такие подозрительно немотные, оттиснутые в экранный угол автомобильные аллюзии встречаются в «Сталкере», у Хичкока, в фильме «Положение вещей», в finale которого смерть героя фиксирует не Анри Алекан, а сама упавшая на землю кинокамера, – как говорит Сэм Фуллер в этой ленте, «жизнь цветная, но в черно-белых тонах она реалистичней»). Кроме того, мужская фигура, безотчетно стремящаяся влево, и молочного цвета четырехколесный предмет, что регулярно, как застывшая синкопа, как рикошет зрительской невнимательности, упирается снизу по апперкотной дуге в правую часть картины, образуют на пути идущего вибрационную трещину, вихрящееся отверстие, как кенотаф для гравитации, – пробел, из которого состоит все прочее. Подобный прием прокалывания лазейки в пустоту сквозь глухую повседневность сближает Юрия Веденина с тенями фотографической волшбы прошлого, которые знали, что непоправимая скудость и полный отказ от своего продолжения и есть осозаемость и плоть священного. Мастер в этих обстоятельствах неизбежно припрятет козырь в своем рукаве: патос реинкарнации между Сырдарьей и Амударьей какого-нибудь Картье-Брессона, которого чествуешь, чтобы совладать с невесомостью достоверного, корректирующего бремя идеального, чтобы вернее справиться с набуханием идиллии, вооруженной до зубов, чтобы, наконец, сладить просто с пылью Междуречья, с этим лазутчиком юга, единственным веществом, которому здесь дозволено быть чрезмерным, как типичному *неприсутствию* выжженных солнцем окраин.

Фергана, 2018

Заир Асим

ИЗ КНИГИ «НАГОТА»

3

Молчание видит ночь. Хожу по городу, ничего не ищу. Брожу, как мысль в душе. Темные растения, кусты и травы, как люди, запутались в тайне, обросли друг другом, шепчут из темноты. Желуди стреляют по крышам автомобилей. Моя тень то впереди, то позади. Иду вдоль арыка. Холодная вода несет свое тихое журчание. Привожу ее в бесконечный путь. Останавливаюсь возле забора, опираясь, как на подоконник, и смотрю в разбитое окно улицы. Город – неутомимое движение на месте. Река, порожденная жаждой людей и запертая в плотные стены. Девушка, тронутая легким страхом, торопится в будущее. Описывать – это не то, что видеть. Когда видишь, полностью присутствуешь. Хочешь описать, отворачиваешься, вспоминаешь слова, подглядываешь за объектом описания. Если плутание становится удовольствием, то жизнь превращается в чудо. У чуда две стороны: первая – блаженство, вторая – ужас. Одна увеличивает другую. Прохожу мимо дома, в котором шесть лет назад периодически ночевал у женщины. В этом городе найдется несколько квартир, в которых я побывал требовательным гостем. Такие дома, как старые, детские фотографии, где не узнаешь себя. Хорошо вспоминать то, чего не было. Это приумножает мою печаль, ветер меланхолии, раздувающий во все стороны черные, как волосы, чувства. Лысая луна застыла во внутреннем сиянии, как голова медитирующего монаха. Мимо пролетают быстрые кошки машин с горящими глазами фар. Неожиданный человек спрашивает меня о потерянном адресе. «Я неместный. Я случайный», – отвечаю ему, обнажаю голос. Продолжаю плутать, разговаривать с собой, смотреть миру в душу. Свободные шаги находят дорогу. Дикая, всеядная земля ползет навстречу. Кусты тянут дрожащие руки, хотят обнять меня, как родного. А я едва коснулся их младенческих ладоней, почувствую их шершавую кожу, их тонкий трепет и иду дальше. Деревья правы, что недвижимо живут вверх, углубляясь корнями внутрь. Но я не дерево, я – блуждающая плоть, танцующая смерть. Камни правы, что неподъемно молчат и ничего не видят. Но я не камень, я – говорящая рана, плачущий почерк. Ничего не заканчивается. Музыка льется сквозь сердце, как кровь. Безлюдная улица заглядывает в глаза, вытягивая из них зрение, одинокую силу. Прогулка останавливает время. Пустота соответствует пустоте.

7

Когда увидел тебя, пронзительно почувствовал, как человек неделимо одинок. Твое лицо, утратив выдуманную мной нежность, предстало некрасивым и чужим. Я смотрел в него, как в лицо знакомого, но забытого человека, чье имя не мог вспомнить. Все предстает только метафорой, тенью и отражением, подлинник непознаем.

Осенние вечерние улицы – пространство, в котором чем более одинок, тем прекраснее вокруг. Ты была сигаретным дымом, медленно выпущенным из рта времени. Навстречу идет пара в обнимку. Тела связаны руками в непрочный узел объятья. Проросли корнями в карманы, в укромные места в поисках интимной кожи. Помню этот слабонервный трепет близости. Прохожу мимо булочной. Яркий, как солнце, хлеб. Все меняет оттенки от переулка к переулку. От имени к имени. Смотрю вдаль с тоской и сочувствием, словно в глаза умирающему. Милиция заглядывает светом в машины, стоящие в темных закоулках, разыскивая там неудобныйекс. Тревожно сердцебиением моргает фонарь. В стеклянных книгах окон пылает непрочитанная жизнь людей. Ночью тела манекенов выглядят настоящими, правдивыми в своей неподвижности. Люди в автобусе, как манекены в витринах. Всегда останавливаюсь перед большими, толстыми деревьями, чтобы смотреть на их кору. Черные, глубокие слезы, веками катящиеся в землю. Письмо с вертикальными строками.

Здесь происходит лучшее. Любовь без иллюзии, обращение без выбора, разговор без притворства. Прощание, которое не обсуждается. Бесконечное прошлое.

14

Яблоко, наполненное влажным светом, или виноград, впитавший соки земли, учат меня любить вкус жизни, ее плотскую красоту. Вот уже третью неделю мне не удается выйти из счастливого безмолвия. Беспечное действие, легкомысленная расточительность, сытость, доходящая до истощения. Две бесконечности секса и танца выпивают всю силу души, отнимая у нее возможность высказывания, простоту свободного дыхания. Мы лежим в постели после нежной агонии ночи, наши желудки тихо урчат, словно голуби. Смеемся, целуемся, таем. Перед глазами пролетают дни и города, оставаясь не увиденными и безымянными. Главное – продолжаться, тема письма – всего лишь смена направления. Если я не вижу ни себя, ни мир, окутанный пеленой любовного тумана,

то уместно говорить о слепоте, как об определенном угле зрения. Помутнение, опьянение кожей, одержимость запахом. Упорство речи. Не сдаваясь, продвигаться в темноту молчания, чтобы, оставаясь вдалеке, быть ближе, чем рядом, быть внутри. Твои тайные и зримые губы все время источают волнительный сок желания. На темной ткани различимы белые пятна спермы, словно солнечные зайчики, пятна неожиданного света. Разрушительная череда оргазмов, кратковременные вспышки умирания ослепили волю рассудка. Бегу из пустой комнаты, от своего нетерпеливого бесплодия, от неспособности быть безликим. Ищу мелодию и уют твоего объятия. Влюбленный человек и спящий обнажены перед смертью, перед той невысказанностью, что омрачает счастливые дни. Влюбленность – разновидность сна, когда все происходящее беспамятно и мимолетно, любая попытка ухватиться за действительность сопровождается глухой зевотой. Стоит оторваться от тебя, теряюсь в замешательстве ожидания. Просыпаюсь среди ночи, чтобы сказать: «*спящий, я был накрыт твоим шепотом, как город звездным небом*». Голос или мысль – вибрации бодрого тела. В голове все мешается. Точность и последовательность наблюдения требуют отстраненности. Вот чего я лишен. Я весь в происходящем, totally поглощен активной радостью близости. Не могу отступить от чувств, взойти на вершину сердца, увидеть внутренний пейзаж. Просыпаясь утром, открывая глаза, первое, что вижу, слова твоей нежности, а потом уже свет нового дня.

17

Наступает момент, когда я вновь не хочу показываться. Становится непонятным, почему появляюсь в местах, где меня можно увидеть? Я парализован сомнением, густым туманом, которым вечерами наполняется наш район. Состояние, когда не можешь сдвинуться с места, по причине полной невидимости происходящего. Даже для небольшого шага требуется хоть какое-то пространство ясности. Я стою на улице, вкопанный в глубокую мысль, как столб в землю. Турбулентность последних ночей приучила к такому пронзительному страху, что, находясь ногами на земле, чувствуя возможность падения.

Я стал все замечать мимоходом, отучившись видеть. Перестал бывать лицом к лицу с пейзажем, слушать временный шепот погоды. Тоска по утраченному действию, не выходящему за пределы тела, затрудняет дыхание. За сегодняшний день со мной случилось несколько видений. Кошка с виноградными глазами на подоконнике доедала плов. Она испуганно смотрела – насквозь – жидкими

глазами. В ее тревожном, диком взгляде таился родной блеск воли. Воля – жизнь на краю смерти. В этот миг я заскучал по уличной бездомности, по голоду опасности и восторгу безымянности. Гуляя в парке, заметил птиц, и был проникнут мыслью, что они заняты основным делом – существованием. В их ритмичной ходьбе и быстрой пульсации клювов я находил оправдание бесцельно прожитой жизни. Все это происходило в разные дни, спутанные между собой, как волосы. Потом сел в машину, включил дымный джаз и ехал всю ночь напролет. Длинная улица пропастью летела в лобовое стекло. Ветер, мертвая листва, тонкие тени ветвей – мир терялся в собственном холоде и взывал окунуться в красоту его посторонней обнаженности. Я поднялся на возвышенность, откуда открывался земной фейерверк улиц – многоцветные руины домов. Ряд фонарей тянулся огненным позвоночником города.

Мое ненасытное безделие отдалается от меня, как детство. Упоительное равновесие ума и сердца, время, когда душа занята только собой. Устав от тепла и уюта счастливой комнаты, выхожу в пространство природы, чтобы окунуться в прогулку во времени. Блуждать по холодным улицам, разглядывая опустошенные лица деревьев, мерзнуть до нестерпимой дрожи – то же самое, что впадать в неожиданную ностальгию, – проникновенная меланхолия памяти. Человек идет и съеживается в себя, пряча голос в поднятый воротник, своим дыханием согревая сжатый кулак руки, словно сердце музыкой. Нам отмерено мгновение, чтобы встретиться с собой и попрощаться. Это состояние диаметрально противоположно слову «самозабвенно», ибо себя не забываешь, а помнишь. Холод не позволяет растекаться в пространстве, дает возможность леденеть, соответствовать своим границам.

20

Из кухни доносятся женские голоса. Слышиу стремительные выдохи звуков. Смотрю в монитор туманного окна. Слабое пятно солнца борется с плотностью туч. Труба дымит, как потухший факел. Плоский лоб дома. Под снегом спит детский сад. Речь застывает, как вода, превращаясь в холодные нарости. Скользкое оцепенение льда, по которому опасно идти, покрывает дорогу в будущее. Такие места мы преодолеваем, держась друг за друга, как пациенты, теряя равновесие шагов. Голоса продолжают звучать. Между предложениями проходят дни. На стене висели часы. Они остановились и застыли в одном положении стрелок, круглой фотографией времени. Через неделю я увидел голую стену с пустым гвоздем. Место отсутствия часов воплощало собой вечность. Вечность можно уви-

деть, глядя в любую стену. Пространство воздуха – стена, лишенная границ. Я устал от изнурительной тишины и стараюсь шевелиться, скрипеть стулом, чтобы меня услышали. Горячая батарея под подоконником дышит на меня теплом, как животное. Сегодня ничего не произойдет. День пролетит по касательной бледным лучом света, моргнет в противоположном стекле и угаснет ночной звездой. Я уже перестал удивляться тому, что ничего не происходит. Справа мигают зеленые лампочки. Перед детским садом стоят закопанные деревья. Смерть живет в тишине. Небо прояснилось. На полу появилась моя тень. Воздух располосован ветвями, как страница. Упорное расщепление немоты. Сидеть мыслящим камнем становится все труднее. Хочется вырваться из крепкого объятия земли, взлететь или упасть, лишь бы ощутить свободное движение тела. Вступить бы в беседу с голосами, доносящимися из кухни, чтобы тоже позвучать.

Оцепенение замершего куста. Жизнь тянется долгой зевотой: хочешь заснуть, но не можешь, хочешь чем-нибудь заняться, но мешает близорукая сонливость. Фонарь стоит свечой луны. В голове ночь разлуки. Обнимаю твою куртку, нюхаю и плачу на нее, как собака у ботинок мертвого хозяина.

23

Вспоминаю момент из детства. Возле дедушкиного дома росло дерево – шелковица. Я залез так высоко, что не мог спуститься. Так себя чувствую сейчас: не могу приземлиться, остается только падать.

Наступит ли равновесие? Бесконечное отсутствие денег. Неудача действует как пружина. Она сжимает до минимального размера, и ты способен выстрелить. Попасть в цель. Но выстрел может оказаться смертельным. Литература приучает жить малыми величинами, совершать безрезультатные действия, шаги размером с букву, существовать в тени высказывания. Бесшумно говорящий почерк вытягивается струной на фоне белого дня. На каждой открытке или фотографии, найденной в пыльном, поломанном ящике, или на подаренной книге стоит дата. Подпись прошлого. То же самое здесь: фотографирую пустоту, обнуляю время.

Я перестал видеть своих родителей, свидетельствовать их ежедневное угасание. Не слышу, как по утрам мама ездит на велотренажере, будит меня тихим цикличным поскрипыванием. Как папа громко разговаривает с собой в ванне или вздыхает. Любить своих детей – любить жизнь. Любить своих родителей – любить смерть. Первое естественно, второе приходит с мужеством.

Невыносимая неподвижность слов. Высказывание недосягаемо, будто не могу вспомнить приснившийся сон. Сквозь приоткрытое окно будней проникает холодное дыхание снега. Медленно вращается диск стиральной машины, перекатывая воду грязного белья, многослойную жвачку. Слушаю ее равномерное чавканье. Рисовые лепешки, полушиария расколотых грецких орехов, невысказанная еда.

Джаз плавно покачивается, как занавеска. Музыка втекает в глухую боль, расширяя ее твердые границы, распространяясь блаженным лекарством. Не могу разглядеть покинутое лицо настоящего. Мгновения абсолютной любви возможны только в единении. Страсть к абсолюту порождает требовательные надежды. Наша жизнь, пронизанная кровавым светом жажды, – череда разрушенных иллюзий.

38

Скользкая вода принимает форму посуды, голыми руками ее не удержать. То же самое происходит с речью. Жидкая и неуловимая она пребывает в постоянном движении, в стремительных разговорах, то шепотом, то криком просачивается в отверстия другого сознания. Замер стакан стихотворения, сияя внутренней игрой света. Твердые формы вещей – ловушки для прозрачного времени. Новости по телевизору или уличный гомон проносятся вдоль слуха гулом буйной реки. Мир шумит и продолжается. Чтобы выманить из потока внимательную паузу, я должен углубиться в себя, стать ямой молчания, вырыть могилу ожидания. Тогда текучие дни принимают объем образовавшейся пустоты. Так накапливается немое озеро книги.

Мы приехали в горы, туда, где прошлой осенью лежали под деревом, отдалившись от компании людей, разглядывая желтые листья. «У каждого тела, заболевшего светом, своя судьба ожогов» – так я говорил, поддавшись тишине, окружавшей нас. И вот мы лежим здесь снова. Смотрим на коротконогую беготню муравьев. Обсуждаем жизнь. На фоне синевы вьются стрекозы. Кудрявая яблоня набухает плодами. Склон горы пробуждает ощущение чуда.

Люди уходят, но место остается.

ПОЭЗИЯ



Марк Вейцман

ОСТАЮТСЯ ТОЛЬКО ЧИСЛА

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ

Кто сказал, что спиц мельканье
Лучше всякого дурмана
Облегчает привыканье
К обреченности романа

И что якобы вязанье,
Да еще на склоне лета,
Есть прямое указанье
На исчерпанность сюжета?

Соглашаться не желая
С этим мнением субъективным,
Я лечу к тебе, Аглай,
В самолете реактивном –

То ли сглаживать ухабы,
То ли втюхивать отмазки,
То ли тешиться хотя бы
Свитерами крупной вязки,

То ли вволю пообщаться,
Как бывало многократно,
То ли просто попрощаться –
Навсегда и безвозвратно.

* * *

В городке, притулившемся над рекою,
За его команду болел я, в коей
Все владели мячом на газоне мятом
Много хуже, чем трехэтажным матом.

Там центральный защитник чинил ботинки,
Левый форвард срамные сбывал картинки
И свои доходы делил с властями,
А вратарь приторговывал запчастями.

Но когда они мяч загоняли в сетку,
 То того, что входило в грудную клетку
 И взрывалось в крови на манер тротила,
 Для грядущей любви в аккурат хватило.

* * *

Во сне он вышел вновь на поле,
 Как встарь, под номером седьмым,
 И был за гол, забитый вскоре,
 Отмечен Бесковым самим
 И космонавтом Гречко лично.
 И потому-то поутру
 Немного дольше, чем обычно,
 Протез пристегивал к бедру.

* * *

Пухлых губок цвет свекольный,
 Легкий локон, пышный бант –
 Для любови младшешкольной
 Идеальный вариант.

Слишком яркое горенье
 Скоротечного огня.
 Слишком раннее прозренье:
 Этот плод не про меня...

В туристическом Эйлате
 Крутят старое кино.
 Возвращается некстати
 То, что минуло давно.

И у девочки у Таи
 В городишке над рекой
 Стекловидная не тает
 Карамелька за щекой.

ЭКСКУРСИЯ

Рыхлый, крутой и обрывистый склон,
 Где Неизвестный солдат погребен.
 Низкий, сырой и промозглый подвал,

Где неизвестный поэт поддавал.
 Дизель, который ночами гудел,
 Флигель, где пьесы кропал драмодел,
 Финские санки, берилл и коралл –
 Всё, что азартно копил-собирал,
 Зеркальце Ривки и коготь орла,
 Нитей обрывки, что парка сплела...

* * *

Городок Золотоноша
 В беспредельности степной
 Не красивей, но не плоше,
 Чем какой-нибудь иной.

Жизнью сносной, хоть и пресной,
 Здесь жила одна семья,
 И училась в школе местной
 Незабвенная моя,

Чья у парки неумелой
 Нить судьбы не задалась –
 Истончалась то и дело,
 А потом оборвалась...

Всё меняется с годами –
 Направление умов,
 Колер неба над садами,
 Нумерация домов.

Всё проходит, как известно,
 В этом некого винить.
 Время зыбко, только место
 Невозможно отменить.

Жизнь, исполненную смысла,
 Поглощает пустота.
 Остаются только числа –
 Широта и долгота.

Инга Кузнецова

ОБРАЗЫ ДЫХАНИЯ

* * *

ты проза музыка мозаика заика
а я молчанье трещина стекла
втянув обрывки уличного крика
ты сквозь меня прошла ты истекла

когда стекольщик выставит за дверью
испорченное мутное когда
и рамы поменяют я проверю
что смерть вода

но не сейчас раздваиваясь нео-
братимо как другие берега
я не могу тебя молчать яснее
река

* * *

шум исчез но в воздухе остались
образы дыхания и дым
солнце в шелухе что твой физалис
метафизик физика эдем

синема намазывай на веки
каждая душа кароль буке
завязь тела только занавески
лепесток запутался в шнурке

здесь легко но не смогу обнять вас
электроны в этом не вольна
без остатка не делима на два
не война

* * *

тенистые дворы в беспомощном пуху
какое счастье
что явь прорезалась

меня не вынимай
отсюда
о не надо на запчасти
меня и май

хотя заслуживаем
бестолковы
бессовестны
и встреченный июнь
как бледный конь теряющий подковы
что сгинет только дунь

все мы поверхностны
не верим в смерти похоть
все крылышикуем
все висим на волоске
над пропастью бежим сжимая хохот
и плач в руке

* * *

яркая ржавчина гаражей
спутанность всех ветвей
видишь изрезан тоской ножей
неба сплошной хайвой
видишь растрескалась смальта дня
будем же объектив-
ны эти фрагменты тебя меня
в цельность не обратив

Юлий Хоменко

РЕКВИЕМ

* * *

щелк и остались на фотографии

а время поехало дальше

порожняком

* * *

Топа

читается справа налево

вспять

* * *

Виктору Кучеренко

7

приближается
очередной день рождения который
слегка сбавив скорость проследую
без остановки

6

замерев задержались
на несколько десятилетий
в аллеях парка Культуры
пионеры 30-х

5

сход снежных лавин в Нижней Австрии

не твоих ли
с недавних пор невесомых
рук дело

4

демонтировали колесо обозрения
но отныне незримое
кружит и кружит
чертово колесо

3

последний раз
видел тебя в день Города
в виде воздушного шара
летящего мимо

2

о жужжащее
допотопными мотоциклами
точно мощными шершнями
дощатое шапито

1

в полулюбительском исполнении
зато в кафедральном соборе
так и недописанный Моцартом

РЕКВИЕМ

* * *

заброшенные соборы
без помощи человека
молятся облакам

* * *

безоблачной ночью

открытая в космос

балконная дверь

* * *

на территории
моего бывшего детского сада

что-то не так с часами
с годами

*

руководимые воспитательницами
построились парами

искривляясь во времени
идем на прогулку

*

не допил какао
не доел овсянку
все так и осталось стыть
где-то в шестидесятых

* * *

снег на картине серый
слякотный

зато не растает и летом

* * *

вон в том переулке квартира Бетховена
а тут за углом моя

но не встречаемся в супермаркете

очевидно отоваривается по старинке
в лавчонке и на базаре

* * *

зрячие пальцы пианиста

* * *

некогда служивший
поводырем глухому Бетховену
антикварный рояль

* * *

движущееся
с лязгом и скрежетом средневековых башенных механизмов
европейское время

* * *

ушел
не выдержав собственных нравоучений
из Ясной Поляны
Толстой

* * *

роддом
детсад
начальная и средняя школы
различные предприятия и учреждения
дом престарелых
кладбище

все это есть в городке

и даже
автобусное сообщение
с внешним миром

Андрей Гущин

ВО СНЕ И НАЯВУ

* * *

Поодиночке, парами
В коробке черепной
Знакомые кошмары
Проходят предо мной.

Как скворушка в скворечнике,
Синица в кулачке –
Так хворые, увечные
Теснятся в мозжечке.

По свету горе мыкая,
Срываешься на крик,
На клекот, на курлыканье –
Заоблачный язык.

ВО СНЕ И НАЯВУ

1.

Души подтоплена стена,
Зияет черная промоина,
Твое ли дело – сторона,
Когда неладно все устроено?

На ладан дышишь или спиши –
Нет разницы, покуда в вышних
Стоит неслыханная тиши.
Лишь барабанит дождь по крыше

Да кроткая скребется мышь,
Питаясь жертвами бескровными.
А ты над крышами pariшь,
Крылами повода огромными.

2.

Плынут по небу облака,
Как гуси-лебеди певучи.
А под крылом поет тайга,
Как в песне, сызмальства разученной.

Земля баюкает, как мать,
Ильнет с любовью к человечку.
Сырою кто ее назвать
Посмел? Она тепла, как печка.

Поскрипывает тихо ось
Земная. Чудеса, как в сказке.
А в мире все друг с другом врозь,
Лишь старый мотоцикл – с коляской.

3.

Над лампой вьются мотыльки,
Роняя призрачные тени.
Синеют спящего белки
Следами сумрачных сомнений.

С тобою время говорит
На языке лесной кукушки.
К земле летит метеорит,
И слезки капают в подушку.

Андрей Цуканов

ИЗ ХРОНИКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЖИЗНИ НЬЮ-ЙОРКА

* * *

Алексей работал маркетером
В офисе американской компании
Производившей всемирно известные презервативы
Работа была неплохая, но донимали проблемы с дисциплиной
Он часто выслушивал выговоры от менеджеров.

Иногда в его офис залетала бабочка и садилась на край дисплея.

В офисе у Алексея были друзья
Грузин Звиад и армянин Левон
Звиад заведовал вэб-сайтом
Левон трудился над системой безопасности офиса.

Часто они вместе дружно ловили бабочку чтобы выпустить ее
в окно.

Звиад был огромный мужик любил выпить
И говорил я простой человек и лублу людей
Только не лублу когда на мэна пальцем стучат
Левон был человек мягкий и Звиаду не возражал.

Когда бабочка не ловилась Звиад зверел
А она садилась ему на макушку.

Тот день у Алексея не заладился
Ночью порвался презерватив, и жена устроила скандал
Что даже нормальных гондонов принести не может
Что теперь может даже аборт придется делать
Что все ей в этой гребаной америке надоело
И Алексей в первую очередь.

Иногда бабочка усаживалась одному из них на плечо, и все
смеялись.

Скандал продолжался почти всю ночь, и на работу Алексей
опоздал
Его вызвал менеджер Майкл и сделал строгий выговор

Алексей пробовал объясниться, но Майкл его заткнул
Сказав, что еще одно слово и Алексей будет уволен.

Бабочка передернула крылышками
И съежилась в пыльном углу на полу.

Алексей вернулся к себе и сел на стул перед дисплеем
К нему зашли Звиад и Левон, но Алексей их не заметил
Звиад глянул на Левона, тот кивнул головой и пошел в свой
кабинет
Звиад тихо вышел и закрыл за собой дверь.

Бабочка полетела за Звиадом
Но тот закрыл дверь перед самым ее рыльцем.

Через полчаса к офису подъехали скорая полицейские и пожарные
Менеджера Майкла увезли на скорой
Всем сказали, что кто-то его изувечил
Но свидетелей не было, видеокамера не работала
А менеджер молчал.

Алексей Звиад и Левон вечером пили пиво
И рассказывали анекдоты про бабочек.

Бабочка веселилась всеми своими ножками
И хохотала всеми своими крылышками.

* * *

Столько лет заполнял я канистры
Невидимым миру слезами
Слезинка за слезинкой
Соленые – как кислота соляная
Пробовал на себе – так и есть

А когда иссохла последняя капля терпения
Взбрался на крышу одного из жилых
Монстров мегаполиса
Затащил туда две канистры
И планомерно шагая вдоль крыши
Возвращал обратно миру
Невидимые ему слезы
Соленые – как кислота соляная

Пока запыхавшиеся от лестничной беготни полицейские
Не прервали затянувшийся перформанс

Интересно, кого они спасали и от чего:
Экспертиза от химии показала, что в канистрах
Была чистейшая питьевая вода Poland Spring
Экспертиза от медицины показала
Что я здоров во всех отношениях
Дай Бог каждому

Поначалу меня хотели осудить по какой-то статье
Но прошли многолюдные демонстрации
Те, на головы которых я лил
Невидимые миру слезы
Соленые – как кислота соляная
Согласно экспертизе – чистейшую питьевую воду
Многолюдно выступили в мою защиту
И многолюдно приветствовали меня
Когда я вышел – свободный, как птица
И молча смотрел на небо и не мог оторвать от него глаз
Ведь я пробовал на себе действие
Невидимых миру слез
Соленых – как кислота соляная
Ведь я, стоя над бездной, собирался
Сливвшись с последней их каплей
Шагнуть вниз
И когда я отвечал
На дружественные приветствия своих защитников
То вдруг представил себе
Как бы я удивился
Когда, летя вниз вместе с последней каплей
Невидимых миру слез
Соленых – как кислота соляная
Попробовал бы ее языком и обнаружил вкус Poland Spring

А потом мы многолюдно пошли в паб
Пили пиво, виски и кока-колу
Закусывали креветками, гамбургерами и картошкой
А сейчас я сижу под дождем в цветущем сквере
Рядом с тем самым жилем монстром мегаполиса
Смотрю на дарящее влагу небо
И не задаю ему глупых вопросов
Смотрю на подрагивающие под напором капель листья куста
С красивыми белыми цветами

Сижу
Думаю
Мысль

Никогда больше не буду покупать канистры
И уж тем более утомлять себя подъемом на чертов шестидесятый
этаж

МАКДОНАЛДС – НАШ!

Уже почти тридцать лет назад
В родной первопрестольной
Я занял очередь у подножья памятника Пушкину
И под его безмятежно-спокойным взглядом
В числе прочих любопытствующих
В течение почти четырех часов
Кружил в очереди по площади его имени
Чтобы попасть в только что торжественно открывшийся
Первый в России Макдоналдс
Американскую – в числе прочих – диковинку
Которых много было в лихих 90-х

Теперь эти Макдоналды, как грибы после дождя
Рассыпались по всей России
И весело и споро суетятся в них кассиры
И фасовщики бургеров, картошки и прочей фастфудовской снеди
И я без особой уже очереди вполне буднично
Вкусил эту снедь
В Москве, Питере, Рязани, Челябинске, Твери...
И Бог весть еще где на просторах России

Довелось мне вкусить ее и в Америке
Откуда быть пошел Макдоналдс
Но что-то не так было с американскими бургерами

И только недавно я понял, в чем тут дело
Когда на поэтическом фестивале в Рязани
Услышал правдивую историю о происхождении бургеров

В начале прошлого века жили в Рязани
Честные удалые трактирщики братья Макошины
Славились своими котлетами да картошкой жареной

Но пришла власть советская и закрылся трактир
А братья оказались в Америке

Делать нечего – стали в Америке трактир налаживать
Котлеты да картошку жарить – народ кормить
И повалил к ним народ – вкусно ведь, и недорого

Но не верил никто в Америке, что еда эта – русская
Для них, глупых, русская еда – икра черная да красная
Да осетры там, да стерлядь – вкусно, но дорого
А это – фаст фуд, быстрое питание
Так и прижилось это слово

А тут еще супостаты – менеджеры американские
Втерлись в доверие к братьям
Стали подмену творить, качество пищи снижать
Чтобы инкам повысить
И назвали котлету рязанскую бургером
А чтобы рекламу лучше творить свою американскую
Оставили от фамилии братьев первые три буквы
И добавили привычное для американского слуха слово доналдс

Увидев такое непотребство, братья Макошины
Сказали: нечестное дело творить не можем
И ушли, как водится, в светлые дали
А по Америке размножились Макдоналды
Торгующие испорченными рязанскими котлетами
Под названием бургеры
Ну а картошку они справедливо считали искони своею

Но в лихие 90-е правое дело братьев Макошиных
Вернулось на свою историческую родину
И опять приобрело российский дух
Хоть и стало зваться иноземным именем

Так зайдем же в ближайший Макдоналдс
Вкусим родного рязанского биг-мака,
Тамбовской картошечки фри
И выпьем российской парной кофе-колы
Во славу рязанцев братьев Макошиных
С легкой руки которых по всей России
Кормят народ быстрой и недорогой едой
Бургерами и жареной картошкой.

Лера Манович

НЕНАПИСАННЫЕ ИСТОРИИ

ПРОСТОЕ

С годами начинаешь
 понимать простые вещи:
 не выдавать знакомым бабам
 имя парикмахера
 если ты им довольна
 места для недорогого отдыха
 если ты ими довольна
 или то, что твой нынешний
 хорош в постели
 если он и правда хорош
 В сущности, эти простые истины
 были известны хитрым троечницам
 еще в восьмом классе
 когда любовь не была для меня даже уравнением
 потому что в уравнении хотя бы есть порядок
 что-то за чем-то следует
 а тут все было так сложно
 что не разобраться
 только троечницам было легко
 им доставались
 будущие лучшие мужчины школы
 города
 страны
 а ты только ломала голову
 что нашли эти
 в этих
 не умеющих привести уравнение
 к общему знаменателю
 с их скрипучими голосами
 и вечными синими кругами под глазами
 только сейчас понимаю
 что они находили в них
 женскую простоту
 чего тогда не было в тебе
 да и сейчас очень немного
 а тогда это был вообще темный лес

и когда мальчик, который сидел и курил
на краю ванной
и по которому я уже полгода
тихо умирала
закашлялся и сказал – у меня все уехали на дачу
постучи меня по спине
я долго стучала его по спине
так долго
что ладонь онемела
а он посмотрел на меня с улыбкой
и сказал – ладно
хватит
уже прошло.

ДЖИМБИНОВУ

Зачем, учитель мой, опять
твой взгляд печален,
Никто не хочет умирать,
Die Blätter fallen

Всё предо-о-пределено,
На дни разъято,
Вот тополь поделил окно
На два квадрата.

На крышу влезешь, смотришь вниз –
Заплаты-латки.
Вот Полетаев на карниз
поставил тапки.

И сам ты тут не навсегда
Такой тревожный,
А самолеты-поезда
Умрут чуть позже.

Всё – только улиц тишина
На миг притихших.
Моргнет и скатится луна
За ворот крыши.

ФИЗРУК

Некоторые красивые женщины
в детстве были некрасивыми толстухами
некоторые некрасивые толстухи
в детстве были красивыми девочками
не знаю, что утешительнее.

Я всегда была примерно одинаковой
не считая расцвета с 13 до 14 лет
когда ко мне приставали
в троллейбусах
автобусах
просто на улице
и даже школьный физрук
у которого жена была тоже
школьный физрук
и я придумала «физрук физрука
видит издалека»
одноклассники смеялись.
Он носил обтягивающие треники
и красный свисток на шее.
Жаль, что не осталось никаких фотографий
в доказательство того
что физрук был хорош собой
а я была еще прекраснее.
Остались только
совсем детские
на горшке
с лицом, заляпанным кашей
и пухом вместо волос
и все, кто смотрит, говорят:
ты почти не изменилась.

ХОМЯК

Надвигалась гроза
мы стояли под березами
я, твоя мать и твоя жена
с младенцем на руках

Я смотрела на эту девочку
с маленькой головкой и

мутными как у котенка глазами
на дочь человека, с которым мы

когда-то были так близки
что не было никакой возможности
просунуть в эту близость никого
даже крошечного младенца

Даже котенка или щенка
даже хомяка, которого мы купили однажды
для жизни втроем
а потом оставили его на подоконнике
как оставляли цветы и кактусы

Господи, как мы любили
и как грустен был плод нашей любви
в виде коричневого мертвого хомяка
в стеклянной банке

И вот мы стоим: твоя мать, твоя жена, твоя дочь,
я. Гроза надвигается на нас,
березы шевелят зелеными ветвями
и я ничего не чувствую.
Ни-че-го.

ТЕКСТ

Ненаписанные рассказы
усыхают от времени
как виноград

истории, когда-то тяжелые и сочные
болтаются теперь в памяти
ссохшимся мусором

текста во мне так мало
что его хватит разве что
на предсмертное бормотание

когда дети и внуки соберутся вокруг
и услышат чудовищные обрывки
ненаписанных историй

о насилии и страсти
любви и предательстве
историй, в которых половина – чистая правда

самые впечатлительные из них
еще долго будут
катать в памяти услышанное
подходить тайком к постели больной
долго смотреть на пятнистые руки
и рот с присохшей кашей
и отходить с облегчением
уверенные
что всего этого не было
и не могло быть
ни снаружи старухи,
ни внутри нее.

ОБНОВЛЕНИЯ

Скайп сообщил, что я не могу пользоваться скайпом,
так как использую устаревшую версию программы.
Улица сообщила мне, что я не могу пользоваться улицей,
так как использую устаревшую модель ботинок.
Мужчина сообщил мне, что я не могу пользоваться мужчиной,
так как использую устаревшее тело.
И только устаревшая версия моей мамы
как будто ничего не замечала,
и старая версия кота
была ласкова со мной, как всегда.
Боже, благослови котов и матерей
и не забудь обновить меня к понедельнику.

Елена Зотова

ДОЛИНА СЧАСТЬЯ

* * *

И тогда их вырвало
Наизнанку национальностью,
Вырвало, вырвало
Из костеприимной земли –
За избытком ненависти,
Недостатком радости,
Восполнить который
Они не могли.
В этой школе мученичества,
Ученничества
Вечные нелюбимчики,
Первые ученики
В мастерстве ссучиваться
И в очернительстве
Меньше единицы
Заработали в дневники.
И машина сна
Заработала бешено,
Вот-вот проглянут
Утренние ростки,
Месть остынет,
И холодом снега свежего
Утолю печаль мою
С легкой руки.
А когда не останется
Ни эллина, ни иудея
На стерильной, плоской планете Земля –
Я вернусь, едва не забыв, краснея,
Затерять постыдное, крайнее я.
Крючкотворство и пагуба канут в лету,
Зажурчит крутая, мокрая речь,
И земля распустит синюю ленту,
И появится луг, на которой лечь,
И гора, за которой
Прячется солнце,
Расфуфырит нежный павлиний хвост,
И новая мышца

В комок сожмется
 И взорвется новым букетом свойств.
 Ибо я – не умею,
 Да, не умею! ныне, присно, и вовеки веков
 Исчезать, сгорать со стыда,
 Во гневе –
 Гнать волну на первых
 Учеников.

* * *

Ночное небо, как с тобой легко.
 Гляжу в твое стоглазое лицо.
 И ты меня так равнодушно глашишь.
 Вранье, которым движусь и кормлюсь,
 Которым подневольно становлюсь,
 Ты от меня когда-нибудь отвадишь.
 Как это будет? Страшно представлять.
 Нельзя под правду близких подставлять.
 Как хорошо – уже от бедной рифмы.
 Когда придешь – дай онеметь тогда,
 Не чувствовать ни хвори, ни стыда,
 Ни голода – таков последний стих мой.
 На донышке – надежда, как птенец:
 А может, будет легок мой конец?
 Не повторить астаповского старца.
 Драконья муха – вот он, мой размер,
 Зигзаг полета, мой изъян манер
 И нежеланье ради лжи стараться.

О чём, бишь, я? Ах, да – антисонет!
 Когда, казалось, никого уж нет,
 Одно лицо – как суп, разлитый в миски,
 Опять вокруг – сияние дворца:
 Вот человек – и нет на нем лица,
 Вообще – примет,
 Помимо божьей искры.

* * *

Растение детства и тайны,
 Степной одуванчик двойной,
 Союзник и бог вырастанья,
 В некрепкой короне сквозной –

Ты вестник, дрожащий свидетель,
Желток и белок бытия.
Недаром и ветер, и дети
Сдувают пушинки с тебя.
Вот собран – и снова рассеян...
Целую твой призрачный след.
И может, в подметки растеньям
Сгожусь я на старости лет.

Данил Файзов

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕРЛИБРЫ

ВОПРОСЫ

*пробовал рассказать дочери
ей два с половиной года
о Пасхе*

*сам неправославный
но суть вещей знаю*

споткнулся на смерти

впереди 9 мая

как объяснить про войну?

1. СВЕТОФОР

дочь
как же попроще объяснить

конечно проще всего поверить папе и маме
на слово
что дорогу надо переходить на зеленый
а когда светофор горит красным
надо стоять

но можно ведь иначе

смотри:

зеленый
это когда весной появляются новые листочки
зеленый
это весна и лето
это тепло
и можно ходить в легком платье

зеленый
это можно идти в бабушкином саду по траве босиком

красный
это конечно огонь
мы с тобой не будем дотрагиваться до него
потому что можно больно обжечь палец
красный
это цвет пожарной машины
она едет туда где пожар чтобы его потушить
ты же пожарная девочка
красный
это когда горячее летнее солнце обожгло твою кожу
и она болит горит

желтый
это надо подождать
как после лета зеленые листья становятся желтыми
и все знают
надо подождать
пройдет осень
зима
и после этого опять будут зеленый
весна
лето
можно идти

2. КНОПКИ

дочь
как же попроще объяснить

конечно проще всего поверить папе и маме
на слово
что нажимать на все кнопочки
которые тебе попадаются
не надо

но можно ведь иначе

смотри:
мама или папа долго работали на компьютере
потом подошла ты

и маленьким пальчиком нажала на какую-то кнопку
 и то что делали папа или мама
 стерлось
 и папе или маме придется опять много-много времени
 восстанавливать
 конечно они будут ругаться
 они не смогут читать тебе книгу
 а тебе это надо?

или
 мама или папа в магазине покупают много всего
 в том числе мороженое и сушки
 они расплачиваются карточкой
 потом подошла ты
 и маленьким пальчиком нажала на какую-то кнопку
 и еще раз
 и еще раз
 и карточка больше не будет работать
 и мороженого и сушек не будет
 а тебе это надо?

или
 ты взяла мамин или папин телефон
 и набрала чей-то номер
 может быть это номер кого-то из наших друзей
 а может быть бабушки Наташи или бабушки Светы
 они увидят наш звонок
 но не услышат нашего голоса
 и будут очень переживать
 вдруг у нас что-то случилось
 а тебе это надо?

давай потихоньку учиться нажимать
 правильные кнопки
 мы тебе конечно поможем

3. ВРЕМЯ

дочь
 как же попроще объяснить
 времена года сменяют друг друга
 вроде как водят хоровод

как наступит весна...

только что было холодно
и белым-бело

и вот сегодня светит солнце
словно большой светофор показывает сигнал ждите
а оно тем временем растапливает снег

и проходит еще немного времени
из-под земли выглядывает свежая зеленая трава
первые цветы
на деревьях набухают почки

как наступит июнь

первый комар укусит
зеленый свет
можно идти
одуванчики сначала говорили ждать
мы дождались
и они стали пушистыми белыми
будем дуть на них

вот и дождались поезда
в Кирове бабушка Света и дедушка Володя
в Вологде бабушка Наташа
и маленькая собачка Герда
и сестренки Маргарита и Ярослава

клубника и малина
яблоки и крыжовник
смородина и земляника
огурцы и помидоры
все с грядки
с куста

и солнце красное
словно сигнал светофора
но не тебе
а лету
остановись
постой

вслед за летом придет
осень

мама посмотрит в окно и скажет
дождь
сегодня наденем резиновые сапоги

и надо прыгать по лужам
желательно двумя ногами

ходить в детский сад и бассейн
собирать желтые кленовые листья
 заводить для них специальный альбом
 и складывать их между листами

Не заметишь как снова
наступит колючий декабрь

еще раньше лужи начнут замерзать
можно на этот первый лед прыгать двумя ногами

пройдет первый снег
пушистый и белый
как одуванчики

и сразу растает

но потом он уляжется
как навсегда
укроет горки качели скамейки

папа и мама начнут суетиться
покупать билеты подарки

ты поможешь нарядить елку
и придет новый год

и будет еще много-много снега
а когда мы устанем носить теплые шубы и шапки

станем думать о том

как наступит весна

Ирина Котова

АКУПУНКТУРА НАСИЛИЯ

a)

недостроенным домам
легко снимать шляпы
здравствуйте
заказывать круассаны на завтрак
гораздо легче
чем тем
чья крыша снесена снарядом
или
в ши-
ринке
по всей
ши-
рине
парадного подъезда –
танк

покури с рабочими –
говорит дом со снесенной крышей
безголовой новостройке

падает на ее фундамент
мертвой птицей неба
прогорклой мочой подъезда

b)

аку-
пунктура
войны
вкривь
вкось
вкру-
чивает
аку-
льи
зубы

в не-
 точ-
 ные
 то-
 чеч-
 ные
 удары
 ме-
 чет
 икру
 пилит
 головы
 электро-
 пилой
 ле-пилой
 ле-чит
 говорит –
 меч
 and
 щит
 говорит –
 ау-
 ау

shit

с)
 изнутри
 насилие не видно
 изнутри оно кажется
 привычным мягким животом моря
 оно прячется
 в отбитые носы статуй
 делает вид
 что – разное

если внутри войны
 надеть беруши –
 рокот стрекот скрежет
 лгущее жгущее бьющее
 теперь – привычка
 кавычки – жизнь

благополучные девочки
фронтовыми санитарками
вытаскивают из огня
тех
кто внутри насилия

пытаются –
истребить привычку

пытаются –
обмануть
обоймой вбиваю в головы –

насилие – не sex

d)
хочется о теле
вот – тело
лает лайкой
лязгают металлом слов
лайкает солдатам –
поддатым
чернорабочим войны
по ярким датам
пикников
отмеряет
критические дни
икает холodom
его достала –
мошкова
и бунгало – достало
ему все – мало
мало
мало
и хочется еще –
острой и жестче
при этом
не хочет быть –

убитым

но оно
мер-
тво

без меры
и ящерица
пьет с его
ли-ца
на нем – ца-
рапина
лицо –
как раковина
моря
как в детстве

ящерица
пьет и пьет
пьет кровь –

не знает
что творит

тело
хотело – жестче

e)
голодающей
китайской бабочкой ацетона
китайской пыткой –
кап-кап
кап-кап
человек зависает над властью
в попытке
исправить ее осанку
кап-кап
кап-кап

что – ацетон...
для власти –
туфли его – не в тон
оправа очков – не в тон

прокрустово ложе войны –
феромоны

f)
война выглядывает
бармалеевой бородой

из-под кровати
в ней – голые гниющие тела
ничейные корявые
кровавые тела
тела-глисты
как
в адовом конвейере –
по кругу

мартеновская печь
переплавляет кости
на монеты

чума – понятно
спид – понятно
грипп – понятно
но
война –
всегда – обратно
путь – наоборот
к тем
терракотовым
в могилы
само-
аборт
в пустом ведре
амбиций

подгонка платья пращура
под бедра
под сваи
свои

g)
если случится ядерная война
разные виды начнут оплодотворяться
самое страшное –
неодушевленное
оплодотворит живое
камень – человека
овоц – человека
башенный кран – человека
человек – бетономешалку

если парнокопытные
вновь вошли в воду
и стали левиафаном
значит –
это
уже было

значит –
неживое
уже оплодотворило человека

h)
под датчиком узи-аппарата
вместо зародыша ребенка –
зародыш волчонка

слишком много марий
без толку
оплакивало христа –
говорит врач

i)
человек-ковыль
век ли твой
на-
у-
быль

ковы-
ляет

если
солнце
протягивает ладошки
вдруг
вспоминает
быль –
будда
съел сухое мясо
будда
будто –
умер

как
однажды
человек –

от аллергии

на оружие

Владимир Строчков

ИЗ КНИГИ «ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ НЕТ»

Перед читателем книга, состоящая из шести частей: «Мифы», «Хронос, Гипнос, Танатос», «Люди, твари и поэты», «Мудрофилия», «Буколики» и «Эрос, или Остов любви».

Такой набор предполагает всеохватность, но со спасительной иронической интонацией, которая слышится в названиях срединных III и IV частей. Впрочем, Хронос, Гипнос, Танатос или Эрос, отсылая нас к древнегреческой мифологии, тоже переводят строгий неподвижный указатель на подрагивающую стрелку – на игру с мифологией, иначе это именовалось бы по-русски: время, сон, смерть, любовь.

Читатель уловит не только иронию, но услышит и то, что в «Илиаде» описано в двух строках первой песни: «Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, / Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится». Говоря проще, читатель услышит гомерический смех.

Кругосветное путешествие начинается как раз с главки «Илиада» и стилизации на тему хрестоматийного «Бессоница. Гомер. Тугие паруса...». К счастью, стилизация мгновенно подтверждает догадку, что глотать музейную пыль нам не придется: «Я список кораблей прочел до Мандельштама...» – уверяет автор.

Волны похожи одна на другую, но каждая волна, уходящая в песок времени, воскресает в следующей с неубывающей свежестью.

Мандельштам писал: «...поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином», и поэт Владимир Строчков, насквозь пропущенный аллюзиями, реминисценциями и цитатами, тому подтверждение.

В первом стихотворении мы слышим не просто эхо мифа, но – преломленное эхо, потому что повторенные миллион раз строки Осипа Мандельштама – тоже миф. Во славу жизни канон взорван вопросами: «Все это от любви? Все движется любовью?» Не только частный случай кровавой бойни, именуемый «тroyянской войной», но и вообще вся человеческая жизнь – все это от любви?

От любви к Иерусалиму надежда плененных евреев на возмездие вавилонянам: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»? Это знаменитый 136-й псалом «На реках вавилонских». У Владимира Строчкова новозаветный вопрос к ветхозаветной жестокости: «как расплескать о камни брызгами мозга / из головы их нерожденные смыслы / и где граница, что нельзя, и как можно, / чтобы при реках камень кровью умылся?» И здесь, как почти в jedem стихотворении, напластование смыслов. Читаем: «...а тут на вербах вроде виселиц плахи, / зной, стынут жилы невербальных

орудий. / Веселый ветер знай несет напев плача / в Ерусалим, стонут жилы, молчат люди...» Фильм «Веселые ребята» снят в 1934 году, в очень «веселое» время, как раз, когда стоны жиły и молчали люди, а главный герой фильма занимался, как Давид, пастушеством и песнопением.

В этой книге эпос и лиризм удивительно соседствуют с игрой, со «смеховой культурой». Мыслитель писал, что «смех есть событие судьбо динамическое – одновременно движение ума и движение нервов и мускулов», и эта сентенция абсолютно точно определяет взрывной характер поэтики Владимира Строчкова и мускульность его слова.

Гомерический смех (ради красного словца позволим себе это преувеличение) возникает, когда аллюзия становится пародией или карикатурой, и таких намеренно кривых зеркал, искусно перевирающих классическое изображение, в книге хоть отбавляй. Это не издевательство, но прием, странным образом возвращающий нас к первоначальной свежести оригинала, а главное – сообщающий стихам автора свою оригинальность. Поэт не столько убивает двух зайцев, сколько дарует им жизнь.

В стихотворении «Илиада» читаем: «Скажи-ка, дядя, кривой сверхсрочник, какого хрена / троянец с греком сошлись, друг друга лупя по бейцам, / что, не видали мы ихних сала и круассанов?» Далее текст приправлен суровым армейским юмором и матом. Пародируется торжественный строй речи Гомера – «Илиада», а заодно и русский поэтический миф – «Бородино».

Не только эхо эпоса и мифа звучит в этой книге, но и эхо почти каждого слова в соседнем. Это некий аллитерационный пир. Вот как разворачивается картина в поезде метро: «Разум в огне, он в агоне, / огне и агоне, / бъются в агонии мысли, / вагонные мысли, / насмерть дробясь о табличку, / слова на табличке: / "...старших кассиров билетных, / кассиров билетных"». Та же филигранная работа со словом в обращении к гекзаметрическому Гомеру и Шлиману: «Шли нам, Шлиман, из Илона привет, / ты же, слепой, говори, спотыкаясь оком, – о ком? / – тех, что были и навсегда ушли».

Миф – детство человечества, но и детство человека – миф, и детству уделено в книге много пристального и нежного внимания. Время в мифе не существует. «Времени больше нет». Одна из лучших вещей – в этом, одноименном названию книги, разделе.

очарованный странник в очках набекрень
по сугробу съезжает в вечернее детство
помедли помедли продленный день
продлись продлись засыпая след свой

*там сырье валенки и носки
верблюжьи двугорбые в сосулях снега...
продлись продлись караван тоски
караван эллингтона и туарега*

*братец кроличьей шубки и шапки сер
сыр и сер и набившийся снег в запястьях
продлись помедли СССР
если было в тебе даже это счастьем*

*а потом в долине полдневный жар
бесконечный шелест и хруст простынны
с потолка небес раскаленный шар
и оазис мамы среди пустыни*

*очарованный странник мозги набекрень
через бред бредет сквозь сухую воду
помедли постой уходящий день
продлись продлись бюллетень по уходу*

Здесь тоже, но совсем не весело, а грустно преломляется эхо. Эхо детства. Мы слышим мелодию Тютчева, цитируется Лермонтов, упомянуты Братец Кролик и очарованный странник... Прекрасная нимфа Эхо, которая обладала таким голосом, что заслушивались боги, не зря воспета в древнегреческих мифах.

Мифология сродни поэзии, у обеих инструмент один – слово. И опять характернейшая черта поэта – неотступная память о русской поэзии: «сестра, моя жизнь – это голод слов». И невидимая сторона жизни – смерть – тут как тут. Например, в «Жужеличной жизни»: «душа в чем только держится / на ниточке дрожит». И дальше: «простые тут обычай / и гибель без затей / от лап и клюва птичьего / от жвал зубов когтей». Смерть, но какая концентрация энергии, какая жизнь в этих стихах!

С каждым стихотворением человек, его пишущий, приближается к смерти, и дело, конечно, не в элементарном движении времени. Тем более, что в момент письма его нет, как его нет в мифе, в медитации или молитве. Приближение не дает понимания смерти, но и без понимания (того, что не может быть понято) каждое стихотворение подготавливает поэта к ней именно потому, что исчерпывает жизнь до конца. В этом, я бы сказал, индивидуальный, авторский смысл поэзии, и подлинный читатель – тот, кто способен этот смысл уловить и разделить с поэтом.

Я назвал наше краткое путешествие по книге кругосветным, потому что начинается она с детства человечества, с мифа, а за-

канчивается детством поэта, который съедает шоколадного коня (уж не троянского ли?) под музыку гекзаметра: «Помню, в детстве была у меня шоколадная лошадь...» Последние строки этой книги:

Я рыдал безутешно, но ел ее вместе со всеми...
Все же странная это штука – любовь.
Странная штука.

Мы помним, что в первом стихотворении был задан вопрос: «Все это от любви? Все движется любовью?»

Я думаю: да. Любовью к жизни, к земле, крову и очагу, к родным и друзьям, к женщине. И любовью к слову.

Многократно преломленный в слове поэта миф щедро преломлен с читателем, и эхо эпоса становится эпосом эха.

Пушкин закончил свое «Эхо» довольно безнадежно. Обращаясь сначала к отзывчивому эху, а затем к поэту, он пишет:

Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

Я надеюсь, что новая книга Владимира Строчкова опровергнет сей категорический приговор.

Потому что в этой книге есть все. Как в Греции. А учитывая сноски, даже большие, поскольку мифологического словаря у греков не было.

Нельзя объять необъятное, но можно уступить ему место, что автор предисловия и делает с почтением и благодарностью.

Владимир Гандельсман

* * *

Затемно
берегом
вечером;
вечером они идут, а она ему
почему, говорит, почему,
говорит, почему, а он молчит,
у каких-то мыслей своих в плену,
необязательных,
молча переносицу морщит;

тянет, тянет от рощи,
воду стылую рябь морщит,

и песок, и всюду полно морщин,
морщин и трещин,
потому что ветер, вечер,
усталость, старость,
и вода близко,
от воды зябко,

и, в песок носом,
прилегла косо
на воде лодка,
и вода в лодке
ночь на дне стынет,
да порой лодку
колыхнет малость –
и плеснет-стихнет.

И уже *их* нет,
а все так осталось.

* * *

И в эту ночь мне снова снился сон,
как раскрывался наверху кессон,
и сыпался из растрюба песок,
и возникали дюны и холмы,
бескрайние барханы, тьмы и тьмы,
и были мы.

Негромко воя песню в унисон,
стояли толпы войском на песке,
как воины китайцы из гробниц,
и ты стояла среди тысяч лиц,
держа лицо в руке,

и плакала, и гипс никак не сох,
и слезы с гипса падали в песок
и оставляли лунки на песке,
и я тебя погладил по щеке
и стер лицо.

* * *

ты снова смотришь ты куда ты откуда сюда
опять ну и что и опять ну и что что бессмертный

опять он свое ты гляди пузырится у рта
 опять эта пена совсем как тогда под Бизертой
 опять ты свое да откуда мне знать и куда
 ты гнешь ты о чем канонерка ну да в Агадире
 в Танжере Сараево Принцип ну да это да
 бедняга эрцгерцог ну это ну да проходили

ты это ты тут не гони не мели чепухи
 опять он бормочет и Мюнхен и Гливице-Гляйвиц
 и все фердинанды и тигры и печи грехи
 замаливать поздно и поздно надраивать глянец

на Пряжке Треблинке Даахау Гулаге держи
 держи ему руки вот ложку язык вот зараза
 ты как отошел ты получше а ты вот скажи
 нет лучше молчи я не вынесу кряду два раза

зачем ты всё помнишь все эти слова имена
 Катынь Биркенау Голгофа Каиафа Иуда
 сиди щас отпустит вот на вот прими веронал
 запей вот зачем это все и когда и откуда

молчи ты чего не уймешься никак не утих
 кончай не могу я тебе что ли этого мало
 давай лучше мы этот старый кувшин на троих
 конечно же джин ну пузырь как пузырь из подвала

давай ну за встречу поехали старый еврей
 еще по стакану и двинуть не глядя по хорде
 туда где молчи ты все врал никаких пузырей
 земли и откуда к нам свет никуда не проходит

* * *

Наощупку вышел я на опушку –
 парка – тут и капюшон с оторочкой,
 оперившейся едва – ну, в лягушку
 и попал, как в тюремок, да отсрочку
 к малолетству ближе дали...
 Все реже
 в чащу рощи я с охотой мечтаю,
 и все чаще про царевну не грежу,
 а все больше то усну, то читаю.
 За обшивкой гложет зуд, мелкий шашель.

Мысли серые от непониманья.
Сохлась шкурка лягушачья, а шашен
я с царевной не вожу, моль вниманья,
только мыслями порхаю по раме,
от портрета ж только персть, перхоть тленья...
А тягучими, как ночь, вечерами
я играю на свирели смиренья.
Ведь ни чуточки ничто не ничтожно,
даже клоп – он клапан некоей флейты.
Но ночами все же страшно и тошно:
словно выпорхнул – и вляпался в клей ты...
Лук мой репчатый дал стрелку. Обидно,
но не тоже чтобы сильно. Немножко...
Серый мышел прошуршал за обивкой...
По ошибке вышел я за обложку.

БУЗИНА

Этот душный, томительный дух...
Из-под глиняной мглы семена
прорастут сквозь беспамятство. Вдруг –
бузина. Тишина. Синева.

Не томись. Это сколько ж назад
недолетов до этого дня...
Не вращая башкой, стрекоза
смотрит в прошлое мимо меня.

Ни души. Воздух бродит, звеня.
На фасетках полвека назад –
эти ягоды цвета огня,
угасающего на глазах.

Кадр уводит, и плавает звук –
вот такая идет синема,
стрекоза мимо встреч и разлук...
Пустота. Маэта. Синева.

И висит стрекоза, как паук,
в паутине полуденной мглы.
Воздух прошлого бредит вокруг
над останками жгучей золы.

Этот душный, томительный взгляд
исподлобья темнеющих глин –
бузиновый придуманный яд,
сердце ищущий медленный клин.

Пауком, стрекозою замри
над фасетками яви и сна.
Этот дух, этот взгляд, этот крик...
Ерунда. Чепуха. Бузина.

* * *

Анне Аренштейн

Ничего никому никогда никуда говорят
никакими никак не словами о мертвой деревне
смирно замерший вольно, смиренно застывший парад,
то ли траурный митинг стоящих из леса деревьев,

безымянные толпы простой беспросветной травы,
над собой скорбь вздымая сиреневых флагов кипрея,
обтеснившие баньки, колодцы, условно дворы,
человеческих навзничь стоящие гнезд мавзолеи.

Оглушающе пусто, ослепительно тихо окрест,
только вьется в слепой пустоте, как зыбучая пена,
зримый только на звук духовой комариный оркестр,
без пюпитров и нот истязающий марши Шопена,

да порой этот зябко клубящийся хлипкий елей,
разрывая навзрыд, надрывают еще безутешней
контрабасы снующих смычками слепней и шмелей
с тулембасами гулкого баса томительных шершней.

Никогда и никак недоступно простому уму,
почему ни о чем, ни с того, ни с сего, ни с какого,
ни за что, ни про что никакое нигде никому
никуда ниоткуда никем будет сказано слово.

И настанут, и сгинут все тысячи дней и ночей,
но пропащей деревни, как сказочной мертвой царевны,
никакой никуда поцелуй не разбудит ничей
никогда потому, что, возможно, и даже наверно,

круглый двоечник, скучный, но замысловатый дурак,
огородник научных наук, пожилой второгодник,
привозной городской королевич не вспомнит, ни как,
ни зачем, ни сейчас, ни потом, ни вовек, ни во вторник.

* * *

Если что я и знал,
то неточно, нечетко
и улавливал знак
через раз, на нечетный.
Неразборчив и глух
до его обаянья,
невнимательный слух
обгонял обонянье.

Но живой аромат
оседал на ресницы,
глаз вынюхивал март
по шерстинкам лисицы
и вылизывал ночь
до дрожащего блеска.
Губы трогали нож,
но не больно, нерезко.
Отвердевший язык
гладил нежное жало,
и протяжная зыбь
вдоль ложбинки бежала.
И, ловя в пустоте
невесомые плечи,
горстка полых костей
улетала из речи,
отрясая слова,
будто пыль, без усилия.

Только гул выдавал,
как вибрируют крылья,
как чрезмерен замах
одуряющей жажды,
что, взлетевши впопыхах,
не вернется однажды
никогда, но, паря,
но, земли не касаясь,
будет вечно ширять –

так казалось...

Казалось.

Но шептали глаза
сквозь невнятную темень,
что стоит на часах
настоящее время.
Пальцы комкали крик
и смыкались на хрипе.
Все сбывалось на миг,
как бы в видеоклипе.

Все сбывалось за грош,
что скопил за эпоху.

Мир бы не был хороший,
кабы все не так плохо,
так невнятно, как сон,
так нелепо, прекрасно,

если б не было все
так неточно, неясно.

* * *

Где бабочка раскрылась на окне,
образовалась маленькая книга,
верней, альбом узоров на огне,
молчащих, но цветами ярче крика.

Где распахнулся бабочки альбом,
из памяти моей твои ладони
раскрылись, чтобы мне уткнуться лбом
и всем лицом, чтоб ты осталась в доме.

Но две твои ладони, потеплев,
сложились вместе медленно и кротко,
и на оконном дрогнувшем стекле
образовалась маленькая лодка.

И лодка от окна, как от огня,
отчалила и скрылась в голубое
с цветным альбомом, бабочкой, тобою,
на берегу окна забыв меня.

НОЧНЫЕ БОРМОТАНИЯ, ШЕПОТЫ, УГОВОРЫ И УКОРИЗНЫ

Я полон памятью тебя, налит до края,
все, что случилось, не сбылось, что стало, помню
и не отдам за все грехи любого рая...

Ну полно, полно...

Чтобы забыть тебя, мне надо много больше.
Такую плату мне одна лишь смерть заплатит.
Мне хватит этого и до конца, и после...

Ну хватит, хватит...

Да, я все помню, не забыл. Не в этом дело,
а дело в том, что утром снится, ночью будит.
Да будет имя, и душа твоя, и тело...

Ну будет, будет...

Твоим небытием, отсутствием, нехваткой
я заполняю бесконечные пустоты,
и это больно и мучительно, и сладко...

Ну что ты, что ты...

* * *

Из обветшалого гипса
девушка с плеском весла
так усмехается гибко,
словно и вправду весна.

В пятнах серебряной краски,
с блеском в незрячих глазах,
строит кокетливо глазки,
как заповека назад,
выгнула стройное тело
в трещинах и лишаях,
словно и не пролетело
лет этих в наших краях.

Страсть пионерского детства
с гипсом желанным в трусах,
страж юбилейного девства
семьдесят лет на часах.

Гипса, картона, фанеры,
дивный эрзац бытия.
Семьдесят лет пионеры
тайно желали тебя.

Сколько поддельного пыла
в деве, сошедшей с ума.

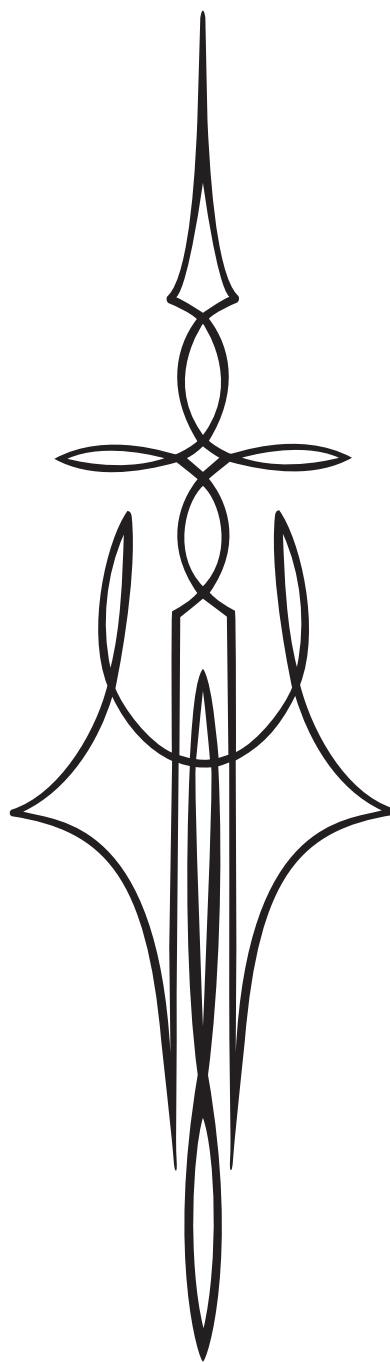
Господи, что это было?
Что с нами стало?..

Зима.

* * *

Помню, в детстве была у меня шоколадная лошадь,
здоровенная, сантиметров под тридцать, наверное, в холке,
весом с древний утюг, хотя, как потом оказалось,
совершенно пустая была. Пустотелая, в смысле.
Тетка мне в третий мой день рождения ее подарила:
в Минвнешторге работала, там и купила, в буфете.
Лошадь я полюбил всей душой, и ревниво, и страстно,
есть не смел и другим не давал даже думать об этом.
В общем, добрых полгода прожила у меня моя лошадь,
вся заветрилась, бедная, серой обклеилась пылью.
А потом ее кошка с подоконника как-то спихнула –
полагаю, нарочно, ревнива была наша Мурка.
Мы собрали останки, омыли и быстро умяли.
Я рыдал безутешно, но ел ее вместе со всеми...
Все же странная это штука – любовь.
Странная штука.

ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ



Михаил Рабинович

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПАР

УТРЕННЯЯ ЧАШЕЧКА КОФЕ

Человек, мой сосед по вагону, держал коричневый бумажный пакетик и смотрел на него ласково и осторожно. Под бумагой угадывался одноразовый стакан.

Человек аккуратно вынул этот стакан и еще более аккуратно сложил бумагу на восемь частей. Потом он оглядел равномерно трясущийся вагон. Есть такие участки, на которых пить кофе можно не опасаясь, что прольется, ровные участки – а есть, где сильно трясет. Этому наверняка существует объяснение. За любыми простыми вещами стоят сложные физические и нравственные законы. Примерно об этом думал, наверное, человек.

Он смотрел на закрытый еще стакан, похожий на тысячи других бумажных стаканов. На белой крышке человек обнаружил какую-то невидимую мне пылинку и не торопясь вытер ее салфеткой.

Поезд остановился на станции, замер, но человек не стал суетиться, чтобы ухватить неподвижный момент и глотнуть. Нет, он еще раз оглядел, погладил стаканчик, строго улыбаясь, но улыбка его становилась мягче: он предчувствовал, что будет дальше.

Пассажиров было мало, но через пять остановок свободных мест не останется.

Человек приподнял край крышки – но не весь, а в специально отведенном, чуть надрезанном месте.

– С молоком, – сказал он мне как своему в настоящую минуту соседу. Он как бы опасался, что я окажусь принципиальным сторонником черного кофе, и неуместные споры или даже их отсутствие омрачат предстоящее мелкое, но радостное событие.

Я со сдержанным одобрением кивнул. Он тоже, хотя и не придавая мне большого значения, закрыл на секунду-другую глаза, давая понять, что удовольствие от иной беседы ничуть не меньше, чем от кофе.

– Я кладу одну ложку сахара, – сказал он и сделал первый удачный глоток. Участок был ровный, спокойный, тихий.

– Я тоже одну, – сказал я, но он уже до моего ответа не сомневался в нем и понимающе, со значением молчал.

– Иногда две, – добавил я, – а бывает, вовсе без сахара пью.

Человек показал большой палец, оценив мою потенциальную широту кругозора, откровенность и тонкий вкус, пусть даже в чем-то отличающийся от его предпочтений.

Второй глоток был не таким длительным, как первый, зато третий – бесконечным. Уровень жидкости в стакане уменьшился, и опасности вылиться от тряски почти не существовало. Человек с закрытыми глазами сосредоточился на вкусовых ощущениях и ранних, утренних мыслях. Движениями пальцев он, тем не менее, тактично давал понять, что обо мне как о соседе помнит.

Когда третий глоток все же закончился, то была уже пятая остановка. Человек открыл глаза и снова оглядел вагон, будто погладил. Народу стало много.

Мы с ним уступили места старикам, беременным, да и просто так. Человек стоял с закрытым стаканчиком, держал его аккуратно и крепко. Чтобы получить полное удовольствие от кофе, надо немножко его не допить.

КОФЕ БЕЗ СЛИВОК

У Алондры первый и навсегда бывший муж женился третий раз, совсем уж неудачно, и рвет на себе волосы – по свидетельству очевидцев.

У Малайи ребенок разбил вазу, очень ценную – стоит почти ничего, несколько песо, но она была когда-то украдена из знаменитой филиппинской тюрьмы, где заключенные в определенное время танцуют, это разрешается, за это даже могут чуть-чуть скостить срок – если попадаешь в тakt музике.

Лидия переживает за свою несчастную родину, но не забывает здесь кормить уличного кота.

Животных надо любить и жалеть, – соглашаются все трое.

Алондра, Малайя и Лидия пьют мартини, плачут почему-то. Людей надо уважать.

Вазу не жалко, плачет Малайя.

Так ему и надо, плачет Алондра.

Несчастная родина, плачет Лидия.

К Алондре сегодня в поезде приставал человек – она красивая – по-хорошему приставал: в синем строгом костюме и синем галстуке, по-хорошему, смеется Алондра.

Муж Малайи – ласковый и бестолковый, он приходит домой и смотрит на кактус. Вместо телевизора, смеется Малайя.

Лидия кормит кота, а тот – сыт, но говорит «мало», – смеется Лидия, пытаясь объяснить игру слов, теряющуюся в переводе.

У того, в синем костюме, была расстегнута ширинка, смеется Алондра.

Три женщины сидят в кафе, разговаривают. Свет падает на них, и тени мелькают, и вино выпито – но будет выпито еще. Они громко смеются, кричат, танцуют тоже в такт музыке. Успокаиваются, снова садятся за столик.

У Алондры мама бывшего мужа купила дорогую машину, – правда, за треть цены, по свидетельству очевидцев.

Лидия переживает за свою несчастную страну, – а ведь сколько там полезных ископаемых, да и читают там много, но они не связанны друг с другом, ископаемые-то.

Малайя видела инопланетян – не только их летательный аппарат, но и их самих, в профиль и анфас.

Они пьют мартини, смеются над ненужной машиной, ненужными ископаемыми, никому не нужными инопланетянами. Никто никому не нужен.

В кой-то веки они собирались вместе, а когда-то виделись каждый день – на работе. Но сейчас там никого не осталось.

Алондра забудет своего бывшего мужа, уже забыла. Забыла. Сейчас вот выйдет на улицу, а вернется не одна – с кем-нибудь достойным.

Лидия не может понять свою несчастную родину, но коты и там есть, котов она понимает.

Малайя помогает мужу преодолеть временную депрессию. Она переставила кактус в хорошее место, к телевизору. Теперь они оба смотрят в одну сторону. Раньше на телевизоре стояла ваза.

Официант подходит к ним, уважительно наклонив голову. Они замечают это – уважение, – заказывают кофе.

БУБЛИКИ С МАКОМ И БЕЗ

Двое в метро разговаривали, пытаясь решить возникшую у них проблему – то есть, один из них предлагал какое-то, пусть частичное, решение, а второй это решение отклонял – при помощи иронии или энергичными жестами.

- Хомяка можно купить...
- Да он гадить будет.
- В библиотеку зайти...
- Да там же книги.
- Измерим расстояние...
- Да линейка ведь стерлась.
- Посоветуемся с Брифманом-Бердымухамедовым...
- Да он же рыжий.

– Всех людей можно разделить, – тихо сказал другой пассажир совсем другому, четвертому, – можно разделить на тех, кто пытается что-то сделать, и тех, кто видит, что это бесполезно по крайней мере в экзистенциальном смысле. Причем и те, и другие так же часто ошибаются, как и поступают мудро.

– Вот оно что, – сказал четвертый, – вот оно что... А зачем?

– Что – зачем?

– Зачем людей делить? Да, можно – на тех, кто любит подогретые бублики с маком, и тех, кто их не любит, – но зачем разделять?

– На тех, кто идет под дождем без зонта и тех, кто с зонтом без дождя... – сказал третий пассажир.

– А зачем? – четвертый повторил зарождающийся припев.

– Кто уснул в тишине и на тех, кто проснулся усталый...

– А зачем?

– Кто известен стране, и на тех, кто живет сериалом...

– А зачем? А зачем?

– ...Кто в политике скакет, чьи глаза так лукавы, как лук, и на тех, чья удача – если в радио выключен звук...

– А зачем? А зачем?

– ...У кого злые мысли и курчавые грядья волос, и того, кто стал лысым и смеется всем телом до слез...

– А зачем? А зачем?

– ... Или там форма носа, очертания там ягодиц – чтобы делить без вопросов, тоже могут вполне пригоди...

– ...ТЬСЯ, – не уместившееся в предыдущую строчку добавил четвертый пассажир. – А зачем? А зачем?

– Шубу можно сшить... – снова стала слышна беседа первых двух.

– Да моль заведется.

– А зачем? А зачем?

– Что-то мы глупости говорим, – вдруг сказал кто-то из них.

– Так это он перестал в метро ездить и придумывает теперь про нас, придумывает.

Все четверо посмотрели на меня, но я сделал вид, что они меня не заметили.

«ЛУЧШИЙ КОФЕ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ»

Молодая женщина сидит в центре, ругается-объясняет, ругается-защищается, ругается-ругается – по телефону. Она сидит на единственном стуле за единственным здесь столиком, ругается-плачает.

Другая – стоит, хочет выиграть что-то в лотерею, уже и два билета здесь купила, один проверила – неудачный. Она застыла в напряжении – сейчас проверит второй билет.

Двое у входа наливают себе кофе – горячий, над ним – исчезающий пар. Двое нальют кофе и уйдут, деловые. А может быть, и останутся на время, но не сядут: единственный стул занят женщиной с телефоном-телефоном.

Двое морщатся, сосредоточенные: надо не опоздать на работу – метро рядом, – но и налить кофе тоже надо. Кофе – теплый, двое греют руки, но уже не здесь они – вышли. Не оглядываются, а если б оглянулись – еще раз бы увидели плакатик на дверях. «Лучший кофе на нашей улице».

Хозяин этого заведения смотрит по сторонам: на женщину, на другую, вслед тем двоим, а вот еще подошли – выбирают чипсы, соц, а газеты хватают не глядя. Ребенок хнычет.

Хозяин – ответственный человек: мягко советует, кому как развернуться, куда пройти, чтобы всем было удобно, что делать с телефоном, чтобы всем удобно было, хотя бы в пределах этого маленького заведения.

Второй билет тоже оказывается неудачным.

Когда-то хозяин был маленьким, жил в Аруначал-Прадеш и хотел стать клоуном. Однажды к нему в деревню приехал цирк-шапито, все пошли смотреть, клоун падал, говорил глупости, и все смеялись.

ВЕТКИ – ВЕТКИ

Она ходит быстро, почти бежит. Ходит быстро – для своего возраста. Хотя о возрасте ее можно забыть – просто быстро. Быстро.

Быстро время летит, понимает она. Люди говорят какие-то важные фразы, не то чтобы не понимая их, а просто не чувствуя, понимая только слова этих фраз, но не больше. Как бы услышав со стороны и повторив. А потом проходит время, да, потом понимают: да, летит. Проходит.

Когда они не рядом, она думает о нем, боится, звонит ему. Боится. Боится, что он скажет что-то необычное, нелепое, жалкое – будто переступит черту, которая отделяет его не только от всего мира, но и от нее; боится, что это уже будет не он; боится его мыслей и слов – будущих.

Она ходит быстро. Быстро. Она вообще молодец, говорят все – и, главное, дети их так говорят. Только привычка повторять слова усугубилась с возрастом. Повторять слова – дважды, даже трижды.

Дважды, трижды. Вот за него она боится. Было, было: он не узнал внука, забыл про него. Было. Но потом сразу вспомнил. Время летит.

Вместе – они идут медленно, по парку. Здесь тихо. В озере плавают красивые рыбки – красные и синие, будто ненастоящие. Но они настоящие. Она боится, она смотрит на него. Они вместе смотрят на рыбок. В озере отражаются ветки деревьев. Много лет назад они смотрели в озеро, и ветки деревьев были такими же. Те же ветки. Те же. Тогда она не боялась его слов. Она смотрит на него. «Я тебя люблю», – говорит он.

ПРОДОЛЖЕНИЕ УТРА

В вагоне я уступил место женщине. Еще подумал, вставая: она же, если и старше меня, то ненамного. Мог бы продолжать сидеть. Но встал.

Задумался, а когда опять посмотрел на ту женщину – то не узнал ее. Губы ее стали ярче, волосы – курчавее, нос принял менее резкую форму. Она продолжала работать над своим лицом: достала кисточку, и, окунув ее в пудреницу, гладила щеки. Потом вынула из сумочки другую кисточку, побольше, потом еще одну, совсем большую, и тоже доставала ими разные труднодоступные места на лице. Какой же огромной будет следующая кисточка, подумал я – но новая оказалась меньше предыдущих. Экстраполировать здесь нельзя, понял я.

Женщина продолжала меняться, чуть выросла, уменьшила вес и возраст.

Она ловко, будто из воздуха, достала маленькую машинку, похожую на сороконожку, которая быстро и аккуратно массировала брови, то выравнивая их, то делая асимметричными, приподнимая ту или иную, чуть их пощипывая, и казалось, смысла в этом не было, но смысл был. Машинка жужжала еле слышно, хотя громче, чем настоящая сороконожка.

Женщина посмотрела на меня и тоже не узнала, а ведь я-то не изменился.

– Садитесь, – с уважением, которого обычно достойны старшие, сказала она. – Я постою.

Петр Образцов

ВЕЩЬ В СЕБЕ

ЖИЗНЬ Ё

Буквы Ё рождаются совсем маленькими, похожими на своих двоюродных сестричек Е и вовсе без точек. Только годам к трем у них начинает чесаться темечко, а к сентябрьскому Празднику прописания вырастают маленькие рожки с круглыми шишечками. Потом ножки у шишек уточняются и становятся практически не видны. В шесть лет ёшек отправляют в школу.

Учатся они долго, до пяти лет. И нечему удивляться – нужно выучить, как аккуратно встать перед важной буквой Ж и получить симпатичного зверька. А то иногда противный и-краткий Й пытается влезть на это место, прихватив с собой круглую дуру О. Нужно не впустить сестрицу Е в слово ВСЁ, а то оно станет одушевленным предметом ВСЕ – а их и так некуда девать. Очень важно проследить, чтобы глупый ОСЁЛ вёл себя правильно, а то недавно из-за него ОСЕЛ целый дом на Большой Дмитровке. И в яму провалился джип помощника Генерального прокурора. Выучить ёшкам нужно так много!

Но и по окончании школы бедным Ё приходится нелегко. Их всё время путают с сестрицами, даже просто игнорируют, а на клавиатуре вообще ставят в верхний левый угол, как провинившихся первоклашек. И даже не хотят обозначить на клавише. После Октябрьской революции наших Ёх просто отменили, и им пришлось скрываться в старых словарях, а многие были вынуждены эмигрировать в Прагу и Париж.

Сейчас стало полегче. Очень многие писатели полюбили ёшек и требуют от издателей их полной легализации. Хуже другое – лишь в одном-единственном слове, называть которое вовсе не хочется, даже самый последний бомж не делает ни одной ошибки и использует именно Ё.

ГРАММ

В Парижской Палате мер и весов жил да был эталон Грамма. По ночам, когда спадала толпа зевак, он вылезал из своего футлярчика и присоединялся к компании других эталонов – Килограмма, Длины, Объема и прочих. Маленький Грамм, поеживаясь в своем

сафьяновом комбинезончике, протягивал крохотную рюмочку и получал свою порцию эталона Градуса. Обычно ему хватало всего-то эталона Капли, не то, что тупому Килограмму или высокомерной Длине, которые надирались, как парижские клошары.

К утру все засыпали – Длина в обнимку с эталоном Ширины, Килограмм залезал в Объем и мерно хрюпал, время от времени перекатываясь своим чугунным телом по благородному хрусталю Объема. А бедный Грамм маялся от тоски и неясных желаний. К открытию Палаты всех будил противный костистый модуль Юнга и эталоны разбредались по своим ящикам. Так шли годы и годы.

Но вдруг однажды в Палате появилась маленькая, блестящая, совершенно неодетая, да что там говорить – просто голая, – Грамма. Так она и представилась опешившей публике и стала с интересом осматривать нашего скромного героя. Они оказались почти копиями, за исключением мелких деталей. Кроме того, Грамма была так хорошо отполирована, что эталон Гладкости даже прикусил губу.

Грамм влюбился сразу же, но никак не мог начать разговор. И первое, что он все-таки осмелился спросить, была глупость:

– А почему вы не одеты, вам не холодно?

– Мне? – усмехнулась голая Грамма. – Я изготовлена из великолепной бактерицидной стали хром-никель 18-10, у меня роскошные бедра с высокой теплоемкостью, и я не знаю, что такое холод!

Однако от порции Градуса она не отказалась. А потом пододвинулась к маленькому эталону и что-то прошептала ему в платиновое ушко. Возникла разность Потенциалов, между ними прокочила искра, и они прижались друг к другу, как плитки Иогансена.

Разнять их не было никакой возможности. Так этот эталон Двух Граммов теперь и называют – Голограмма. Этalon стал очень популярен у посетителей, Голограмму стали помещать на самые разные предметы. Даже на деньги, к которым все эталоны равнодушны.

ВЕЩЬ В СЕБЕ

Вещь жила трудной коммунальной жизнью. Проходя по коридору, ее все время задевал инженер закрытого завода Петухов, неизменно восклицая – а, шпиндель оборонный! Вещь не обижалась, считая это похвалой. Быстро растущий школьник Веня с каждым годом бил по ней кулаком все сильнее, и вещь радовалась, что может ответить ему густеющим басом. Тетка Полина время от времени внимательно смотрела на нее, но так ни к какой идее об использо-

вании не пришла. Иногда в коридор забредали молодожены, целовались и радостно хихикали, показывая на нее пальцем. Потом все разъехались, а одинокая вещь так и осталась висеть на гвоздике.

Дом простоял в разрухе до самой приватизации. Летом подъехали два джипа, и важный тип в двубортном пиджаке осмотрел уже изрядно постаревшую вещь.

— Зачем это здесь? — спросил он жэковского смотрителя.

— Всегда здесь висела... — ответил выросший Вениамин и стукнул по вещи грязным кулаком. Вещь благодарно и гулко ответила.

— Ладно, берем, — сообщил пиджак и уехал оформляться.

Делавшие евроремонт хохлушки смотрели на вещь с ненавистью, но тронуть не посмели, обошли штукатуркой вокруг, а гвоздь покрасили под серебро. Двубортный пиджак привез для вещи после ремонта изящный итальянский чехол. По ночам она мирно посапывала в хорошей коже, а днем, гордо расправив фурнитуру, переругивалась с охраной.

«Кто же я на самом деле? — иногда думала вещь, никогда не читавшая Канта. — Для чего я приспособлена, в чем смысл моего существования?»

Ответ, разумеется, пришел неожиданно. Новый хозяин особняка приказал выкинуть продырявленный в нескольких местах двубортный пиджак и велел Веньке-смотрителю показать помещение. Увидев ее, он благоговейно сказал:

— Это Вещь! Я мечтал о ней с детства! — и властной рукой снял вещь с гвоздя. Вениамин хотел было стукнуть по ней для демонстрации, но хозяин щелкнул Веньку железным пальцем в лоб, и смотритель упал. Он сильно постарел, теперь ему хватало каких-то ста грамм.

Для Вещи наняли массажистку, преподавателя литературы и французского, личного дизайнера и тренера по каратэ. На содержание Вещи у хозяина уходит до двухсот долларов в неделю, даже больше, чем на сына-наркомана. Иногда хозяин берет ее с собой в баню и хвастается перед голыми девками, но Вещь не обижается — ведь и вправду есть чем гордиться!

Единственное, чего она до сих пор не понимает, — как это ее угораздило очутиться в Кропоткинском переулке? Почему она не живет на родине, в зеленом городе Кёнигсберге?

Но хозяин, хоть и с незаконченным средним образованием, предусмотрительно прячет от нее учебник истории XX века.

ПОЭЗИЯ



Андрей Коровин

ТОСКА РЕКИ

* * *

гром и молния позднего мая
на прощанье победный салют
эта музыка глухонемая
здесь ее разливают и пьют

цвет сиреневый лох серебристый
 полночь неба на мокром кусте
 память сердца горька и ребристая
 в отраженной своей наготе

как нам жить сослагателям книжек
 с этой горькой победой внутри
 хоть бы кто-нибудь к августу выжил
 раз два три говорю раз два три

* * *

я стал дождем в московских небесах
прости меня Москва за это лето
тоска реки течет в моих глазах
захлестывая сети интернета

дождь подступает к горлу словно нож
как звери что живут в его потоках
я в дождь теперь и днем и ночью вхож
живу подлодкой в снах его глубоких

пока турбины летнего дождя
работают на полную катушку
за мной в окно синоптики следят
клянут меня
берут меня на мушку

* * *

человек отпускает поводья ума
и один дальше едет

рядом звёзды втыкает в сугробы зима
следом волки медведи

одиночество тяжкий но правильный путь
облака переправа
говоришь ты постигла в нем самую суть
ну так что ж теперь право

кто-то кремль как таза из груди достает
и сует мне за ворот
я бегу от любых площадей и ворот
до свидания город

* * *

Ольге Подъемщиковой

с тех пор так много счастья утекло
что патиной подернулось стекло
где мы с тобой – две птицы – трепетали
у низкого и пыльного окна
где улица как музыка видна
мы петь давно с тобою перестали

скажи мне кто из наших в том раю
я в осени оснеженной стою
в том октябре что стал твоей пропиской
твой дом теперь тебе и мне чужой
лишь домовой что мается душой
мне в этом доме нынче самый близкий

нам по утрам в окно звонил звонарь
качался мутно за окном фонарь
и ты спросонья открывала ставни
в халатике поверх ночного сна
и дом скрипел как старая сосна
как будто бы навеки был поставлен

ПАМЯТИ АНЕЧКИ БЕЛОЗЕРОВОЙ

это странное чувство когда
часть тебя умирает навеки

поезда холода города
все что было тобой в человеке

эти слёзы ночные взахлеб
над зареванной детской кроваткой
эти звезды иркутских трущоб
эти тульского солнца заплатки

и больничных палат торжество
над комочком любви и печали

эта девочка как божество
ей бессмертия не обещали

* * *

так широко так тяжко так телесно
шагает дождь по свежей мостовой
так грузно переваливает чресла
над Пушкина железной головой

то в западных шагнет микрорайонах
то на восток наступит не спеша
и прячутся в подъездах на балконах
собравшиеся выпить кореша

стекает в хлам побелка и известка
плывут куда-то письма и зонты
но нам-то что мы сделаны из воска
а гибнут только люди и цветы

* * *

земли касаются деревья
сквозь сон переходя на ты
взлетает тихая деревня
роняя тапочки в кусты

в тумане все равны под утро
и лишь фонарь один как перст
сияет мутным перламутром
и темноту губами ест

и словно сахарный репейник
глядит в себя неотразим
и бомж расхристанный как веник
идет за правдой в магазин

В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯСНОЙ

только скажи река
подтянутся берега
водоросли осока
рыбы на глубине
пена на буруне
лодки на дне протоки

помнишь моторку мост
мы летим среди звезд
мокрые как созвездья
на потаенный пляж
пляж этот только наш
графские всё предместья

взрослые в волейбол
дети идут в футбол
будет шашлык и пиво
детство мое в горсти
рыбкою отпусти
пусть уплывет красиво

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА

в речке Серой рыбы серые
и царица спит на дне
банки плавают консервные
скакет всадник по луне

а над речкой небо кружится
в Александровской тоске
чье-то тело тихо сушится
на разбросанном песке

за рекой кресты шевелятся
в темном небе золотом

если что здесь и изменится
то когда-нибудь потом

* * *

испачканы губы черникой
наесться от пузя спеши
чернилами лета черкни-ка
петроглиф саамской души

пикируют бледные ночи
в Медвежке от неги светло
Онega лежит как рабочий
на миг отложивший кайло

и здесь на окраине света
в старинных медвежьих лесах
живет запоздалое лето
с карельской усмешкой в глазах

Борис Кутенков

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ СПИНА

* * *

I.

Музыкой стань, драгоценный твой лед,
слово расплавь, мой порыв неотсюда;
в сердце – заслонка от русских тенет,
Райннер Марину светло оттолкнет
всей полнотою сосуда.

Станет, не станет нестрашной грозой –
речь мезозайна, от прочей закрой
слух, только к ней продлеваясь лицом.
Близкое небо над Череповцом.

II.

Слово стоит с молодым поплавком,
с белой блесной в кистеперой губе,
рильцевский мертвенный свет ни о ком,
верю ему – и не верю себе,

в сторону смотришь – на все, что не я,
верю всему, что не я, что не ты:
преображенная речь-полынья,
честное дно, письмена темноты.

III.

Ты темная личность...
Денис Новиков

распростер в познанье ночной шатер –
только, мой доверчивый, и видали;
а внизу алмазы, неробкий хор,

ограняясь, оду поет детали:
 ясен-ясен белый себе отцу,
 черен черный, как ты ни пестуй сына;
 будь блажен, огонь моему лицу,
 человека темная половина,
 что небывшим акмэ идет-гудет,
 точит зуб на скрывшееся в минуте:
 озаренья блик между всех тенет,
 невеличка-спичка придонной жути:
 осветила, спела из белой мглы –
 зэцкий рот в коронках, всем лыбам лыба;
 не хочу в дневные Твои углы,
 дай усмешку дна – и за то спасибо:
 за вагон необщий, ограду рта
 с неалмазным запахом перегара;
 отправное чертово «никогда» –
 перелезший дух, заполярье дара.

* * *

человек человеку спину в драгоценной обиде
 гулкий череп ночной на бессонный закрытый засов
 исчезая звенит перспективы не видя
 и не знает что выйдет как песенный витя
 чтобы музыкой стать через пару часов

той что в лобной пропела кости – и собой перестала
 стала к свету лицом – вот и все что осталось от слов
 в ней живут не дошедшие до пьедестала
 невключенные слиться бредут непрестанно
 под обложкой бессмертья в один нерасслышанный зов

фолиант оживает
 имен разрастается рощей
 поджигает его до небес повелительный росчерк
 как ты там в бестревожном обмане своем
 и всю ночь тишина подожженного рая
 бдит в окно на немецком наречье играя
 неуемным больным фонарем

завтра дым отлетает на дальние мили
 человек – безымянная гладь на затянутом спиле
 симфонической боли своей полубог

а оглянется – вовсе не свет никакой на пределе
лишь по следу дойдя сумасшедший стоит у постели
с оброненною бритвой у ног

ОТБИРАЮЩЕМУ

I.

– свет, – произносит, она произносит: свет
дом стоит свет горит и не больно огню
– вход, – произносит, а выхода нет как нет
с места, клянется, не двинусь не изменю

часто пишется «стыд» а читается правильно «ты»
видишь фото на стенах взыскиуют моей чистоты
строгий прищур вверху – незаемной строки

снимут фото со стен как минутам ни лги
и оставленный сдержит лицо
средь просторов и сёл всей родны широки
с четырех запаленной концов

– бог, – произносит, – все он, – произносит, – бог
с корнем вырвавший гвоздь не отдавший плаща
видишь средь стольких билетов один иссох
вымок второй и некому возвращать

так и буду кружиться чумна и с разлукой на «ты»
даже бродский на стенах взыскиует моей маestы

им исписано всё кто тут жил до меня
в этом имени звон черепной
среди съемных углов сколько их ни менай
больше нет моего как ни вой

– речь, – произносит, она произносит: речь
стану именем новым и жизнью иной
сына обратно не выплакать
что стеречь
слово идущее лесом огнем страной

мину хорошую мой близорукий
глядь
в зеркало чаще – чай не метеор в окно

фото – падать
подбитым крыльям – опять летать

пламени отнимающему – все равно

II.

...в мерзкий мрак в отвратительный хаос
Лев Лосев

через два на оставленном снова цветы и трава
то что было – в огне
то что стало – в окрасе военном
и становятся большим не звуком не смыслом слова
а гудящим и к Богу жужжащим двоеньем
никогда не со мной наравне

где Ты был опустивший на миг в поучительный мрак
чью ладони поил в этот час отчужденно и чисто
а спасала не вера в Тебя и не друг и не враг
только ждущих имейлы и ровные стопы бумаг
мелким бисером аккуратиста
никогда не с Тобой наравне

с кем Ты был пробежавший палимо по хрупкой траве
птицу чью ненадломленной вере учил
перестукам эзоповым брайлевым точкам
а срослись позвонки не от долгой дороги к Тебе
не от времени не от побед
от латанья дыры одиночной

снова штопает рану дневной человек
чтобы снова во тьму –
дать отчет о последней минуте

и сидим и глядим исподлобья

как мучитель на лысину ссавший и зэк
через годы
в кафейном уюте

Юрий Цветков

ОТЦЫ И ДЕТИ

* * *

В детстве.
В школе, родные, общество...
Все твердили
что надо готовиться к трудностям в жизни.
И я,
внутренне сцепив зубы,
готовился к трудностям.

А они так и не наступили.

* * *

Страсть к деньгам и женщинам,
Алкоголь и литература, дети...

Порядок не обязателен.
Иногда что-то выходит на первый план,
Что-то временно отступает.

Боязнь выбросить любую бумажку, старую тряпку –

Все это при жизни было моей формой борьбы со смертью.

ЛЕСТНИЦА ПОКОЛЕНИЙ

Диптих

В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ МОЕЙ МАМЫ

Я всегда думал, что моя мама не доживет до старости.

(Вообще людей 20–30-х годов рождения жизнь в нашей стране особенно
не щадила.
Но это – отдельная тема.)

Она не очень сильна здоровьем и слишком нежная.
Привожу свидетельство последнего.
Как-то в советские времена, когда я был подростком, мы отдыхали
в Ялте.
С общественным питанием тогда было так себе.
Все эти столовые с умопомрачительными тошнотворными
запахами.

Мы нашли,
большая редкость по тем временам,
спрятанный от посторонних глаз в каком-то закоулке
недалеко от набережной,
которая во многих приморских городах является главной улицей,
милый ресторанчик,
где очень вкусно готовили и достаточно изысканно подавали.
В очередной раз после утреннего пляжа мы привычно пришли
туда пообедать.

Неожиданно нас не пустили. Спецобслуживание.
Пришлось есть в какой-то обычной забегаловке неподалеку.
У мамы в глазах стояли слезы.
Она целый год ждала этого отпуска.
Вот какая она нежная.

Она мне рассказывала,
как в детстве внезапно поняла, что такое смерть,
и упала в обморок.

Когда я написал стихотворение про счастье,
долгое время не хотел его публиковать.

Я человек суеверный.
Боялся сглазить. Заявлю, и счастье закончится.
Самым слабым звеном мне казалась мама, вдруг с ней что-то
случится.
А как я без мамы?
И, конечно, чувство вины за произошедшее.
Хотя в стихотворении, кстати, о маме не было ни слова.

Слабым звеном оказались дети, но в другом смысле...

ОТЦЫ И ДЕТИ

Родители стали детьми,
А дети родителями.

Родителей баюкаешь, кормишь с ложечки, делаешь ванны,
Жалеешь, утираешь слезы –
Беспомощные мои, любимые, единственные.

С детьми борешься, споришь,
Глаза холодные как лед, мучаешься,
Как будто ты сам подросток.
Уговоры не помогают.

Сижу в кафе, жалуюсь.
Замечательный поэт, отрываясь от тарелки,
А ты хотел бы, чтобы всего этого не было?
На секунду задумываюсь.
Если в этом смысл, то
Глаза увлажнились.

Нелли Воронель

БЕСПРИЮТНЫЙ РОМАНС

ЭКСКУРСИЯ

У входа радостный аквариум –
немножко цирк, немножко рай.
Непринужденно разговаривай,
смотри, вопросы задавай.

Чем пахнет тут, не стоит спрашивать,
так пахнет всякая нужда.
Помилуй, что ж такого страшного?
Ты здесь пока не навсегда.

Дух одомашненной казенщины –
кульбит в кошмары детских лет.
Старушка-призрак, шейка тощая,
мертвецкий в коридорах свет.

Глянь, попугайчик как подорванный
вопит, по клетке семена.
Ты ежишься и смотришь в сторону.
Вот, кстати, распорядок дня,

и даже список именинников!
И чем тебе не детский сад?
Не обмирай, следи за мимикой –
вернешься, будешь раскисать.

А вот просторная столовая –
коммунистический уют.
Не можешь сам в себя засовывать,
тебе засунут и вольют.

Не можешь топать, будешь так же вот
на колеснице развезен.
Браслетик с именем у каждого...
Сон разума, да это он.

Пристойные вполне условия
в приемнике небытия.
Дрянной образчик хладнокровия –
физиономия твоя.

Да, это жизнь, она здесь разная.
Разулыбай зажатый рот!
Представь, им тоже есть, что праздновать:
и Хэллоуин, и Новый год!

Как мудро и предусмотрительно –
ты здесь совсем не для того,
чтоб выбрать место для родителей.
Гуляй и чувствуй – каково

тебе, лежачему без памяти
в углу, где домом пахнет дом,
понять, что дом решил избавиться
от духа, запертого в нем!

Вся жизнь разобрана до винтика,
осталось разобрать кровать.
Дай жить живым! Им тошно видеть, как
самим придется доживать.

Катись... пока везут, с достоинством!
Из тупика отправлен в путь
вагон, отцепленный от поезда.
Докатишь в рай когда-нибудь...

БЕСПРИЮТНЫЙ РОМАНС

А осень только-только занялась –
ты видишь лишь эскизы и наброски.
Но ты устал и навлюблялся всласть
в оттенки, ароматы, отголоски.

Печаль ее жеманна и юна
и ведома высокому челу лишь.
Ей нравится, когда она одна,
а ты ее находишь и целуешь.

Бледнеет лист кленовый расписной,
мрачнеет лик обманчиво пригожий.
Тот поцелуй до крови затяжной
тебя оставит на ветру без кожи.

И прочь дождем поруганным идешь,
исполненный и вновь опустошенный,
искать приют, в который ты не вхож,
или хотя бы взгляд под капюшоном.

ДРЯННОЙ ШАНСОН

Жжет сирень, и, как сажа бела,
ночь трезвеет в лиловом дыму.
С первым встречным тебя предала
с отвращением к себе и к нему.

Выше берега встала вода,
вышел месяц, плаксив и раним.
Ни за что бы теперь, никогда –
ни с тобой, ни тем более с ним.

Праздный город и приторный май,
пробный шаг без страховки за грань,
падай-падай и там пропадай,
простодушно игравая дрянь.

Сколько дряни еще предстоит,
сколько сажи и желчи вкусить,
этот липкий осознанный стыд
с гордым видом носить – не сносить.

Ведь ни ты был не нужен, ни он,
чтоб начать танцевать от сохи,
и залапанный в танце шансон
не писать, не считать за стихи.

ПРИМЕТ ВЕСЕННИХ ОПИСЬ ДЛЯ УНЫЛЫХ

Есть у весны особые приметы,
способные так лихо взбудоражить

прививкой неподдельного веселья,
глядишь, и день прошел уже не зря.

Приклейтся улыбка идиота,
неловкая для серого костюма,
стабильной и уверенной походки,
и ты уже забыл, куда идешь.

Случается такое по причине
отсутствия привета в организме,
что, в общем-то, конечно, не смертельно,
но может быть заразно для других.

И ты несешь нахлынувшее счастье
с таким лицом и глуповатым видом.
Но, все-таки, давайте про приметы –
Сегодня у меня их ровно две!

Одна из них свидетельствует явно
о том, что называют первой пробой,
когда весна заходит ненадолго,
проверить, как мы – живы или нет.

Лишь на момент внезапного визита
постылый снег куда-то пропадает,
и солнце так сиятельно радушно,
что дома нам уже не по себе.

Ты в этот день выруливаешь сонно,
в разлив тепла, само собой, не веря,
но вот она, та первая примета
беспечно катит вестником весны!

Высокий дед, не бравый и не бодрый,
без шапки, с теплой курткою под мышкой,
на роликах немного враскоряку
по встречке рассекает. Во дает!

И тут тебе настолько неудобно –
твой лучший день, а ты не в лучшей форме!
Но этот дед... О, как же он прекрасен!
Дай Бог ему до ста доколесить!

Примета номер два вступает позже,
когда уже пригреет так пригреет,
причем вторая запросто способна
затмить собой ликующий апрель.

И вот, когда тепло уже надежно,
но миру остро не хватает красок,
а ты идешь наспутенный немногого
и думаешь, когда же, наконец!

Бредешь и видишь – дед на драндулете!
Они тут говорят, что это скутер.
Но это дед – не тот, который первый,
и то, как раз, – вторая из примет.

Он разодет, как сказочная книжка,
как редкая тропическая птица,
а драндулете затейливо украшен
букетом флагов самых разных стран.

И пилит это транспортное средство,
роскошное, как будто на параде,
а флаги развеваются по ветру,
щекочут деду хитрые усы.

Ты смотришь на затейника, дурея
от этой прорвы радости и цвета,
и понимаешь скучную ущербность
своих потуг украсить этот мир.

Владислав Пеньков

ЗИМНЯЯ БАБОЧКА

МАНДЕЛЬШТАМ

Вечер еле дрожит плавниками,
нарастает ночная кора.
Что до «Камня», то катится «Камень»
по воде к островным гончарам.

А январская стужа пошита
из таких же гармоний земли,
что и боги далекого Крита,
что дельфинии их корабли.

Слышишь их, а приходишь наощупь
по кометному льду языка
на покатую Красную Площадь,
на костяшки ее кулака.

ЗИМНЯЯ БАБОЧКА

Намеком случайно затронешь
слезинку-улитку, звезду –
и вдруг отзовется Воронеж,
и вдруг залепечет в бреду.

И сразу сорвется попойка
на струнную странную речь,
она – неуютная койка,
а все-таки тянет прилечь,

пока за окошками бродит,
как бражка, январская тьма.
Страшнее, чем казни в Исходе,
покой и порядок в умах.

Параграфы льдистых дорожек
закручены в хитрый устав.

И жить невозможно без дрожи,
без бабочки зимней в устах.

Уместна наивная вера
в ее трансцендентную суть,
чтоб полную банку сикеры
принять вдохновенно на грудь.

Татьяна Вольтская

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

* * *

Пристанционные строения,
Столбы в чешуйках объявлений –
Приют непризнанного гения,
Несбывшейся мечты и лени.

Здесь что-то, кажется, посеяно,
Да только никогда не полото,
И пьяная слеза Есенина,
И лютиков густое золото,

И тетка, что свою историю
Бубнит, и парники, и лужицы –
Вплываются в голову, которая
Заранее болит и кружится –

Лишь бы не думать, что же кроется
Под каждым облаком и веткой,
Где алкашай лихая троица
Встречается с ветхозаветной.

* * *

Вот он плывет над нами – призрак, Бессмертный полк,
В гулком «Ура!» – как будто грохот «Катюш» не смолк.
Дедушки черно-белые, глянцевые отцы,
Ветер лижет их лица – на палочках леденцы.
Все мы на запах Победы слетаемся, как на мед,
И мертвеецы над нами тихо плывут вперед,
В будущее. Молчали деды – прияя с войны.
Внуки пригубят крови дедовой – и пьяны,
Столько ее разлито – рядом ли, вдалеке –
Все мы стоим по шею в теплой ее реке.
Волны ее упруги: здесь, посреди реки,
Все поневоле братья, на берегу – враги.
Завтра пойдут колонной дети – и встретят их –
Черной икрой ОМОНа площадь: не для живых!
Вот сгорят они в танке, примут последний бой –

Мы их наденем на палки и понесем над собой.
 Будем любить их нежно, в мутном глазу – слеза,
 Будем любить их – павших, ну а живых – нельзя.
 Вязкое солнце льется, брызжет багряный шелк.
 Главная наша надежда – мертвых засадный полк.

* * *

Посмотри, как быстро течет неправда
 За худыми ребрышками окна,
 И течет она, как река Непрядва,
 И, глядясь в нее, замерла страна –

Ей на поле заспанном Куликовом
 Не с Мамаем встретиться, а с собой.
 Посмотри, горизонт в облака закован,
 Кроме тесной промоины голубой.

Узкий луч рассвета кровавит воду,
 Паутинка дышит в углу стекла.
 Неужели нечем купить свободу?
 Лошадь фыркает. Тонко поет стрела.

* * *

Не дари мне эту Красную,
 С пышной розою Кремля,
 Где гуляют люди праздные,
 Свою душу веселя,

Эту Красную, атласную –
 Ни морщинки под страной –
 Площадь ясную, напрасную –
 Обойдем-ка стороной.

Переулками барабанными
 Бойче сыплются шаги:
 Повстречались – новобрачные,
 Разбежались – чужаки.

То ли рядом, то ли снится твой
 Смех, растает – ну и пусть.
 Как же рвется воздух ситцевый,
 Как же за тебя боюсь!

* * *

Летний лес – как мир перед войной –
За стеной сорочьи перебранки,
И подушки мха, и ты со мной,
Теплая кора, смола из ранки,

Флаги солнца и моторы пчел,
Белый гриб, Филонов и Дейнека,
Ты со мной и наизусть прочел
Тютчева, и не бывает снега.

Вьющийся рябинный крепдешин,
Бузины взволнованное знамя,
Только сосны на помин души
Зажжены, а чьей – пока не знаем.

Долго-долго смотришь на меня,
Дышит отцветающая кашка,
И горящей осени стена
В двух шагах, но не видна пока что.

* * *

Когда любой былинке
От солнца горячо,
Хочу идти с корзинкой
Большой через плечо

По улице Казанской
На рынок на Сенной,
Хочу я не казаться
Усталой и смешной.

Не нужно мне редиски
И мяса на обед –
Хочу принарядиться,
Чтоб нравиться тебе.

Что проку мне в салате,
В прилавке зеленном –
Куплю-ка лучше платье
На рынке на Сенном,

Все в бабочках, в небрежных
 Кружках – для куражу,
 А старую одежду
 В корзинку положу.

Мимо воров и пьяниц
 По улице-лучу –
 Порхну тебе на палец
 И дальше полечу.

* * *

Имя в книжке записной
 До сих пор не стерто.
 Между мною и тобой –
 Версты, версты, версты.

По ночам они болят,
 Ноют, как суставы,
 Эти звездные поля,
 Ледяные травы.

Рвется снежное белье.
 На экране плоском
 Имя светится твоё
 Солнечной полоской.

Видишь, времени края
 Растрепались: ветошь.
 Не нажать ли? «Это я» –
 Вдруг ответишь?

* * *

Намокшее поле, дождя голосок,
 Огни иван-чая,
 Болотце, деревня, еловый лесок,
 Встречаешь? Встречаю.

Медовая скрипка – ларек на углу,
 Цветущие липы.
 Вираж мотоцикла – ножом по стеклу,
 Дождливые всхлипы

Холщового неба с некрупным зерном
Богов и героев,
Слинявших давно, допотопный музон.
Откроешь? Открою.

Здесь если удержится жизнь – вопреки
Уму и отваге –
Осинкой – у синего русла строки
На кромке бумаги.

Виктор Есипов

СОН НА РОЖДЕСТВО

* * *

На Рождество мне снился сон,
и в нем была отрада:
звучал как будто патефон
и лился свет из сада.
Знакомый слышался мотив,
и рядом без изъята
и тот был жив, и этот жив,
и были все как братья.
Все говорили в свой черед:
Борис, Василий, Ная...
Проснулся – рядом пес и кот,
да и жена другая.

* * *

Наголо или под бокс
стрижены все поголовно –
сороковых парадокс...
Лия читает нам Львовна
что-то про Жанну д'Арк,
про орлеанские стогна,
и Тимирязевский парк
виден нам в классные окна:
сосен прямые стволы,
стайкой над ними сороки...
В память той давней поры
эти случайные строки.

* * *

От отца нам сегодня пришла телеграмма –
он в каком-то отъезде опять,
тихо скрипнет от ветра оконная рама,
и во сне пошевелится мать.
А луна за распахнутой створкой в зените,
не луна, а месяца крюк,
холодильник стучит свое «витя» да «витя» –

и мешает мне спать этот звук.
Наш скворечник чудной, в просторечии – дача,
где деревья танцуют в саду
под бессмысленный ритм комариного плача,
а в каком не припомню году...

* * *

Когда в Москве я раздвигаю шторы,
любуюсь, как бесчинствует весна,
сжигая снег, то в Бостоне моторы
стихают и над крышами – луна...
Жизнь, как вино, до донышка стакана
испив почти, но веря вновь судьбе
(за всплеском волн, за клочьями тумана
ты спиши пока), я помню о тебе.
И нипочем Атлантики просторы,
и нет конца ни в жизни, ни в вине,
коль завтра утром, раздвигая шторы,
ты в Бостоне вдруг вспомнишь обо мне.

Владимир Ханан

ДЕТАЛИ ПАСТОРАЛИ

* * *

Виктору Ерофееву

Если это провинция, то обязательно дом
С деревянной террасой, чердак, полный разного хлама,
Небольшой огородик, ворота с висячим замком,
Вдоль забора кусты, и сарай, современник Адама.

Обязательно парк, если нет, то, как минимум, сквер.
Пара-тройка скамеек в истоме полуденной лени,
Для сугубой эстетики дева с веслом, например,
Или бронзовый Ленин, а может быть, гипсовый Ленин.

Непременно река, вот уж что непременно – река.
Скажем, матушка-Волга, но не исключаются Кама,
Сетунь, Истра, Тверца, Корожечна, Славянка, Ока...
Плюс пожарная вышка, соперница местного храма.

Вспоминается желтая осень, сиреневый снег
Под мохнатыми звездами, печка с певучей трубою.
Так когда-то я прожил дошкольный запасливый век
И уехал, с беспечностью дверь затворив за собою.

За вагонным окном побегут облака и мосты,
Полустанки, деревья в клочках паровозного пара.
И прощально помашет рукою мне из темноты
Белокурая девочка с ласковым именем Лара.

декабрь 2012

ЛЕТО 53-го

Пионерлагерь имени Петра
Апостола располагался в церкви,
Закрытой властным росчерком пера.
Внутри и вне бузила детвора

Военных лет. На этом фоне меркли
Особенности здешнего двора.

А здешний двор – он был не просто двор,
А сельское просторное кладбище
Одно на пять окрестных деревень.
И будь ты работяга или вор,
Живи богато, средне или нище –
А в срок бушлат березовый надень.

Тогдашний «мертвый час» дневного сна,
Когда башибузуки мирно спали,
Был отведен для скорых похорон.
Пока внутри царила тишина,
Снаружи опускали, засыпали,
И двор наш прирастал со всех сторон.

Полусирот разболтannую рать –
Отцы в комплекте были у немногих –
Не так-то просто было напугать.
Мы всё умели: драться, воровать.
Быт пионерский правил был нестрогих.
Но кой о чем придется рассказать.

Была одна стервозная деталь:
Еды детишкам было впрямь не жаль,
Но требовалось взять в соображенье
Природный, так сказать, круговорот:
И то, что детям попадало в рот,
Предполагало также продолженье.

В высоком смысле церковь – целый мир,
Божественным присутствием пропитан.
Но если по-простому, без затей,
То в этой был всего один сортир,
Который был, понятно, не рассчитан
На сотню с лишним взрослых и детей.

Но сколь проблема эта ни сложна,
Была она блестяще решена,
Лишь стоило властям напрячь умище.
И к одному сортиру, что внутри,
Добавили еще аж целых три
Снаружи, то есть прямо на кладбище.

А вот теперь представьте: ночь, луна,
 Кладбищенская (вправду!) тишина,
 Блеснет оградка, ветер тронет ветки,
 А куст во тьме страшней, чем крокодил,
 Поэтому не каждый доходил
 До цели. Что с них спросишь? – Малолетки!

Пусть в прошлое мой взгляд размыт слезой,
 А детство далеко, как мезозой,
 Я помню все детали пасторали:
 Зеленый рай под сенью теплых звезд,
 Наш лагерь: церковь, а вокруг погост,
 Который мы безжалостно засрали.

11.06.2013

* * *

Кавказ подо мною...

А.С. Пушкин

Я видел картину не хуже – однажды, когда
 Кавказец, сосед по купе, пригласил меня в гости.
 Плыл сказочный август, в то время на юг поезда
 Слетались, как пчелы на запах раздавленной грозди.

Так я оказался в просторной радушной семье.
 Муж был краснодарским грузином, жена – украинка,
 Невестка – абхазка. На длинной семейной скамье
 Я выглядел явно чужим, как в мацони чаинка.

Ел острый шашлык, виноградным вином запивал.
 Хозяин о глупых мингрелях рассказывал байки
 Одну за другой. Над террасою хохот стоял
 Такой, что хохлатки сбивались в пугливые стайки.

Потом на охоте, куда меня взяли с собой
 (сначала не очень хотели, но все-таки взяли),
 Мне дали двустволку, и я, как заправский ковбой,
 Навскидку палил, но мишени мои улетали.

Кавказ подо мною пылал в предзакатном огне,
 В безоблачном небе парили могучие птицы.
 Я был там впервые – и все это нравилось мне,
 Туристу из северной, плоской, как поле, столицы.

Дела и заботы на завтрашний день отложив,
 Я тратил мгновенья, как то и пристало поэтам,
 На каждом шагу упираясь то в греческий миф,
 То в русскую классику, не удивляясь при этом.

Смеркалось. На холмы ложилась, как водится, мгла.
 В Колхиде вовсю шуровали ребята Язона.
 Курортный Кавказ предвкушал окончанье сезона.
 Я ехал на север – и осень навстречу плыла.

январь 2013

* * *

Из пачки соль на стол просыпав,
 Что, как известно, на беду...
 Куда вы, Жеглин и Архилов,
 Как сговорясь, в одном году?

Земля, песок, щебенки малость,
 Слепая даль из-под руки.
 Она к вам тихо подбиралась,
 Петля невидимой реки,

Что век за веком, не мелея,
 Несет неспешную волну.
 Лицом трагически белея,
 В свой срок я тоже утону.

Былого не возненавидя,
 Не ссорясь с будущим в быту,
 В дешевом (секонд-хенд) прикиде
 С железной фиксою во рту.

Семье и миру став обузой,
 Отмерю свой последний шаг
 С беспечно-пьяноватой Музой
 И книжной пылью на ушах –

Туда, где ждут за поворотом,
 Реки перекрывая рев,
 Охапкин, Гендевелев – и кто там? –
 Галибин, Иру, Шишмарев.

Успеть бы только наглядеться,
 Налюбоваться наяву...
 Ау, нерадостное детство.
 Шальная молодость, ау!

август 2012

* * *

В Петергофе однажды, в году девяносто четвертом,
 В ночь под Новый по старому стилю, под водку и грот,
 Я случайно увидел на фото, довольно затертом,
 Старика в филактериях, дувшего в выгнутый рог.

«Прадед где-то в Литве, до войны, – объяснился хозяин, –
 То ли Каунас, то ли...» Я эти истории знал.
 Даже немцы прийти не успели, их местные взяли,
 Увели – и убили. Обычный в то время финал.

Этот мертвый старик дул в шофар, Новый год отмечая,
 В теплый месяц тишрей, не похожий ничуть на январь.
 Тщетно звал я на помощь семейную память, смущая
 Тени предков погибших, сквозь дым проницаясь и гарь.

Не такая уж длинная, думал я, эта дорога –
 От тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времен.
 У живых нет ответа, спросить бы у Господа Бога:
 Если всё по Закону – зачем этот страшный Закон?

...Был обычный январь. Снегопад барабанил по крышам,
 За окном проносились пунктиры автобусных фар.
 Город медленно спал, и единственный звук, что был слышен, –
 Мертвый старый еврей дул в шофар,

дул в шофар,
 дул в шофар.

27.03.2013

Владимир Мялин

СПАСЕНИЕ ФРАНЦИИ

ГАЛИЛЕО

Пиза.

Галилей бросает с башни
пушечное ядро.

«Бух» – падает ядро.

«Бах-пух» – пушка на стене замка
дает залп.

Золотистое с алым солнце
сваливается на город.

Пизанцы
возвращаются домой с работы.
Пизанки в окнах
поливают цветы.

«Бух» – падает второе ядро.

«Проклятый Галилео!» –
цедит сквозь зубы местная одалиска, –
«Опять он бросает с башни
свои чугунные гениталии!»

Улицы пустеют. Сумрак
начинает дрожать, как стекло.

СПАСЕНИЕ ФРАНЦИИ

Иоанна пасла овец.
Справа – церквушка,
слева древний страшный дуб.
Что-то засветилось под ним,

приподняло полу широкой одежды –
и поманило Иоанну.

«Нет, – подумала дева. –
Да и овец на кого я оставлю?»

И она пошла прочь,
гоня стадо домой.

Дома ее ждал отец,
две сестры с женихами
и сосед со шлемом.

Иоанна загнала отару,
взяла шлем,
надела его на голову –
и стала Орлеанской девой,
превосходящей славою
самого короля.

Нет, недаром отцу
снилась она на троне;
недаром из скипетра ее
росли три белые лилии;
неслучайно Карл и Изабелла
стояли перед ее троном на коленях...

«Вперед», – сказала Иоанна.
«Вперед», – сказал сосед.

Так была спасена Франция.
Однако пастушка Иоанна умерла.
Она погибла, стоя над кучей хвороста.
Вся в дыму и пламени.
Вся в дыму и пламени...

Кто теперь пасет
твоих овец, Жанетта?..

СВАДЬБА

По мокрой мостовой шла Весна.
В корзине у нее было много всякой чепухи,

как то: сахарные красные петушки на палочке,
жестянки с гремучим монпансье,
сбитые дятлом кусочки сосновой коры,
голубое воронье перо
и собачьи уши.

Шла Весна, шла – и на терем нашла.
А в тереме том свадьба.

Жених с невестой целуются,
гости пьют, едят и «горько» кричат.

Напились гости, стали драться.
А Весна смотрит да посмеивается:
будут вам подарки свадебные!

Дрались, дрались гости, пока не надоело.
А как надоело – расступились;
глядь, посреди избы
мертвое тело жениха стоит.
Черный костюм на нем, белая рубаха,
а вместо розы на груди
рана алеет.

Ахнули гости, попятались,
да задние и наткнулись на стену...
Оглянулись – глазам не верят:
стоит невеста вся из камня,
одни глаза живым огнем горят,
да ресницы черные моргают...

Бросились гости к дверям –
узкие двери; подавили друг друга,
переломали косточки.

Лежат на полу, стонут,
а Весна подходит к каждому:
одному – петушка на палочке протянет,
перед другой – жестянку с монпансье откроет,
третьему – на ушиб кору сосновую положит;
и приговаривает что-то, и прищептывает...

Только жениху с невестой
ничего не досталось.

Не подарит же она, в самом деле,
мертвецу – собачьи уши,
а каменной девушке –
голубое воронье перо...

Наталья Белоедова

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

* * *

тут стол кровать
окно ведет на площадь
тут мне так сладко было
целовать
и обнимать
и думать проще
не изменилось ничего
но ты
но целовать
но было
над площадью
открытое окно
в нем облако оранжевое плыло

* * *

Зеленая трава.
Бараны – шахматы.
Черные и белые.
Белые и черные.
Идут налево – грустные.
Направо идут – влюбленные.

ТАК СПОКОЙНЕЙ

Невесомое тело становится тоньше.
Наряд – проще.
Звонче поют птицы,
те, что на дереве.
Тех, что в небе – не слышно.
Земля становится выше, гуще.
Так лучше,
наверное.
Так спокойней.

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

*

Люди в очереди нервные:
сонная девушка с ребенком возится,
мужчина в галстуке злится –
он здесь целую вечность.

*

Женщина в платке
качет ногой,
жует жвачку,
напряженно двигаются челюсти.
В моих ушах
ежеминутно взрываются
десятки снарядов.
Мне не верится,
что у нее что-то болит.
Этот полупустой вид,
этот полуотсутствующий взгляд.

*

Дети ерзают, дерутся, вырываются.
Над клиникой
мелькают смуглые пятки,
звукат голоса –
подходит черед
идти в кабинет врача.

*

Все это скоро закончится.
Двухлетний мальчик в полуобмороке.
Медсестра, мечтающая отдохнуть.
Женщина в платке.
Я, сидящая в уголке.
Осталось совсем чуть-чуть.

* * *

строители строят выше
строители строят чище
строители строят чаще
а ты вдоль реки

вдоль чащи
идешь почему-то тише
идешь свое время слышишь
идешь себе иди

Елена Пестерева

БОЛЬШАЯ ВОДА

1. UŽUPIS

Где архангел с трубой над тобой, надо мной и водой,
Мы стоим, прижимаясь, смеясь, дожидаясь погоды,
Под зонтом, под мостом, под деревьями, радугой и под водой,
Рассыпается город
На куски штукатурки и кладки, на арки, балконы, дворы,
Черепицу, брускатку, дурацкие наши стоп-кадры.
На задворках Европы мы, выбывшие из игры,
Попросились обратно.

2. DELFT

На языке чужом и осторожном,
На заржавевшем, но еще живом
Переводи дословно и посложно,
Руками и немножко словарем,
Как взянет мысль и тащится шарманка,
И дождь стоит, и облака стоят,
И в сердце ночи тявкает собака,
И филин ухает, и люди спят,
Как бьют часы на кирхе деревенской,
И жизнь сама случается с тобой,
Как собирает утреннюю мессу
Воскресный ломкий колокол глухой.
Ты ничего такого не хотела,
Но сказочный и сумрачный сюжет
Сам пишется, и на рассветно-белом
Лежит густой по-делфтски синий след.
Теперь ищи в глухонемом бессилии
Сонорных, твердых, звонких, горловых
Каких-нибудь – для кроликов и лилий,
Ручных дроздов и темных мостовых.
Чтоб глинянную клетчатую гладкую
Прохладную, шуршащую фольгой
Голландию, как плитку шоколада,
Носить с собой.

3. HOLLAND

На такой высоте уже не разобрать –
Острова, облака.
Неожиданно нечего больше сказать:
Всё. Пока.
Над Голландией перистые наверху,
Кучевые внизу.
И какие-то домики на берегу
И заплатки в лесу.
И полоски воды, и большая вода,
Кружева эстакад.
Мы теперь ненадолго уже навсегда.
Скоро буду назад.

4. HELSINGØR

Где Дания тюрьма, где Англия могила,
Где свет на разноцветные дома
Ложится косо и в воде залива
Густеет и ворочается тьма,
Где улица, кренясь, сама бежит к обрыву
По розовым и мальвовым лесам
И сходит равнодушное светило
С ума и покидает небеса,
Где не было уже ни памяти, ни тайны,
Ни ясных просьб, ни берега, ни дна,
Где легкие слова неслись в тумане
И снова наступала тишина,
Где, ощупью найдясь, послушны странным силам,
Недалеко отсюда по прямой,
Где я хотела лишь, чтоб ты меня любила
И отводила за руку домой.

5. ROUEN

выходи и смотри это будет большой вокзал
монпарнас или эст или норд или сан-лазар
разевая рот поправляя шарф тяжело дыша
дорогая рождественский сине-зеленый шар
под ногами в руках для тебя но пора решать
мы же взрослые люди мы сделаем первый шаг

от ребра до ребра от грудины до позвонков
 до костлявых объятий готических городков
 от фаланги к фаланге опять от ребра к ребру
 рассыпаются листья и волосы на ветру
 нам руана полупрозрачного – за глаза
 и едва ли теперь отыщется путь назад

6. EESTI

все эти невозможные пейзажи
 исправно доводящие до слез
 некрасовские нивы или даже
 есенинские прорези берез
 потерянные елочки в тумане
 на бывшей пашне собранном жнивье
 катушки сена в черном целлофане
 на влажной и ржавеющей стерне
 нет не похожа вовсе отличима
 по высоте и кривизне стволов
 по вытрапанным гнездам аистиным
 и бирюзе обочин и дворов
 по остроте сентябрьского сиротства
 приморским неподвижным облакам
 случайное надуманное сходство
 с большой страной внутри материка
 озnob тревожный морок узнаванья
 спросонья где попутчика спроси
 продлись продлись продлись очарованье
 и никогда меня не довози
 теперь уже не выбиться из ритма
 не написать другого ничего
 вот с пряничных холмов и валов видно
 как пирита кисель и молоко
 несет к воде соленой и холодной
 и на певучем голубом песке
 миррэлия колышется как воздух
 молчит на незнакомом языке
 в блаженной неге золотой тоске

7. EESTIMAA

пустой и голой
с картонным полем облезлым лесом апрельским небом
с тощими весенними коровами rakvere
с белесым озерным льдом võgi
бесцветной трогательной прозрачной
я люблю тебя даже больше
ничего невозможного делать в пути
ни читать ни вязать ни играть в слова
только любоваться тобой
от умиления плакать
жалеть что на обратном пути
будет темно
ничего не видно

8. LUHAMAA

что теперь за окном
лаванда горошек картошка
герань колокольчики клевер
сиреневое а потом
салатовое а потом
зеленое и голубое
огромное кучевое
отчаявшееся на север
пристегнутое дождем

Мартин Мелодьев

НЕ БЫВАЕТ ЗИМЫ

* * *

Как жаль, что Вас не было здесь поутру.
И Вы бы увидеть могли б,
как рыжие листья шумят на ветру
гирляндами вяленых рыб.

Двойным полукружьем стекают холмы,
как свечи, в долины без рек.
И здесь никогда не бывает зимы –
лишь прошлое сыплет, как снег.

Осенних гуашей плакат разорви:
от третьего повесть лица.
В кустах ежевики живут воробыи,
и камерно блеет овца.

И нежно-оранжевый лист на спирту
горит, как печальная весть...
Как жаль, что Вас не было здесь поутру!
Что вряд ли Вы будете здесь.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАРАДНОГО
ПОДЪЕЗДА ЕГИПЕТСКОГО ОРДЕНА РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ
МУЗЕЯ В САН-ХОСЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЖЕНЩИНАМ

«Сто лет одиночества»

Маркес

Этот мир пирамид, Эхнатона с козлиным лицом –
свои тайны хранит этот маленький мир пирамид,
деревянных скульптур, погребальных вдоль Нила фелук

Неожиданным эхом во мне откликается вдруг
над фигурою женщины, месящей тесто в тоске
на доске, где известка муки как налет на прибрежном песке, –

этот маленький мир старой бронзы и ржавых зеркал,
перепаханный вдоль-поперек и ограбленный тысячу раз

Девятнадцатым веком... на голых плечах сарафан;
лепка нежных ключиц... Сорок восемь столетий любви.
Египтянка! Каких бы стихов я о ней ни писал –
сорок восемь веков между мною и нею легли.

Перед входом в музей, где сплетаются роза и крест,
я стою, размышая о том, как люблю я всех вас!
Даже если она: та, которой давно уже нет, –
вдохновила меня, как сказали бы тут, на romance.

* * *

На тумбочках, торчащих у кроватей,
Гнилушки-безделушки вразнобой,
Аквариумы старых фотографий,
Поросшие асфальтовой водой;
Картофельная всхолмленность бегоний
На кухонном столе, сухой букет –
И все, чему положено быть в доме,
И все, чего, похоже, в доме нет.

Леопольд Эпштейн

ЧЕМ ДЕТСТВО СТРАШНО

БАБА НАТА ИЗ ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА

«...А донес на отца Алексеев Иван,
Очень метил на нашу квартиру,
Но вселился туда офицер, капитан –
Дочь его, малахольную Иру,
Ты ведь помнишь?» Киваю. «Подумать-то грех,
Натерпелись мы с матерью страху.
Алексеев был злобный, дурной человек».
И добавила: «Мир его праху».

* * *

Не знаю почему – совсем был маленький! –
Свой первый на каток я помню путь.
Коньки тогда привязывали к валенкам,
Колючий шарф душил: не прдохнуть.

Трещал мороз – теперь, пожалуй, в Виннице
Таких и не бывает никогда, –
И снег блестел. Мне мама с папой видятся
И дядя Миша – сквозь мерцанье льда.

И льется, льется музыка железная,
Ползет из репродуктора, хрипя.
У каждого конька – два толстых лезвия.
Я падаю. И чувствую себя

Лежащей вверх ногами черепахою:
Никто на свете не поможет мне.
Чем детство страшно? – Вот такими страхами,
Хранящимися в самой глубине

Рептильного по сути подсознания.
Чем детство страшно? – Глубиной стыда.
Ну нет, ни на какие обещания
Я не куплюсь – и не вернусь туда.

Я поднимаюсь – медленно, с досадою –
 Чтоб вновь упасть. С тех пор – как наизусть...
 Я на катке давно уже не падаю,
 Но льда, катаясь, до сих пор боюсь.

Структура жизни детством образована:
 Когда отсюда смотришь на просвет,
 Я был мальчишкой толстым и балованным.
 Всю жизнь потом стыдился. Больше – нет.

Душа созрела: ей уже не совестно
 Нащупать с детством двойственную связь.
 Колючий шарф душил, светило солнышко,
 И музыка железная лилась.

* * *

Человек, побывавший в раю,
 Возвращается в собственный хаос.
 Он еще ошарашен и малость
 Пребывает пока на краю
 Им освоенной жизни. К столу
 Он садится, берется за ложку.
 Вспомнить силится, смотрит на кошку,
 Что, раскинувшись, спит на полу.
 Кошке жарко. И правда, июль.
 Есть не хочется. Ладно, куда уж...
 Старшей дочери, вышедшей замуж,
 Он звонит. В телефоне – буль-буль –
 Отказные. Он думает: «Суп.
 Пол. Окно». Нет понятиям связки.
 Он не может понять без подсказки,
 Кто он: дух или оживший труп.
 Суп – из курицы. Кость. Волокно.
 Он не умер. Он трогает вещи.
 Если б он закурил, было б легче
 Разобраться. Но бросил давно.
 Образ рая теряет черты,
 Растикается в знойном тумане.
 Человек прикорнул на диване.
 Ты не он. Он не я. Я не ты.

ШВЕДСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Выдерну нить из клубка – а она тонка
И коротка.

Жаль мне тебя, голубка.
Спи же, пока ты мал и моя рука
Защищает тебя от июньского ветерка.

Летают вокруг цветка два мотылька.

Журчит река.
Никогда не смотри свысока
Ни на жабу, ни на хорька.
Спи, пока жизнь для тебя сладка.

Долетят до нашего островка грозные облака
Наверняка.

Не надейся на помошь издалека.
Напивайся вдоволь моего молока,
Набирайся сил для спасительного рывка.

Завяжу на тоненькой нитке три узелка.

Всплакну слегка.
Ты все поймёшь, когда вырастешь. Спи пока.
Был у тебя отец и два деда – три рыбака.
А теперь ничего не осталось, кроме лодки да катерка.

* * *

Удовольствие: лечь после двух,
Встать в одиннадцать. Кофий откусать.
Почитать себе что-нибудь вслух,
С удовольствием это послушать.
Побродить среди стульев. Потом
Долго мыться, копаться, возиться.
Все на свете дается трудом? –
Кто бы спорил. На ветке – синица,
Письмоносица царства теней.
Дальше – только соседская крыша.
Снова книгу раскрыть и по ней
Вслух читать. Но не слыша.

Евгений Степанов

СВОЕ МЕСТО

RUE BOURGON

Из старой эмигрантской тетради

Темнеет. Таёт день ириской
Во рту. Стоят домишкы в ряд.
По древней улочке парижской
Простые люди семенят.

Идут, в зубах у них батоны.
Жуют французы на ходу.
Как сталкер по ухабам «зоны»,
И я домой к себе иду.

А где мой дом, скажи на милость?!

Иду и думаю о том,
Что как-то странно получилось:
Моя душа и есть мой дом.

1991, 1997
Paris

БАЛКАНЫ

Я здесь давно. Как местный, прочно
Обосновался. Постепенно
Балкан пороховая бочка
Мне стала бочкой Диогена.

Я вижу море, вспышки солнца,
Которое садится в море.
Века быстрее марафонца
Бегут на чаечном на просторе.

Я раньше мчал в безумном «мерсе» к
Чертям, выкидывал коленца.

А здесь я вижу: зреет персик,
И созревает к(г)олос сердца.

ДЕНЬГИ

А Ротшильды не входят в списки «Форбс»,
А Ротшильдам потешен пошлый форс.
Они и так владеют грешным миром,
Как подобает теневым банкирам.

А Ротшильдам отвратны крикуны,
Поскольку деньги – дети тишины
И точного (точь-в-точь удар) расчета.
Так получилось в жизни отчего-то.

А Ротшильды – в неброских пиджачках –
Имеют сногшибательный размах
И не торчат на голубых экранах.
А Ротшильды в заботах непрестанных

О том, как приумножить капитал.
Рокфеллеры шагают по пятам.
Рокфеллеры не менее прожженны.
А списки «Форбс» украсили пижоны.

СВОЕ МЕСТО

Я сам себе тюрьма...
А.Р.

Я часто наблюдал,
Как битый-перебитый
Вчерашний маргинал
Становится элитой.

Я часто видел, как
Вчерашняя элита
Уходит в полумрак,
Становится забыта.

Константы нет. Я рад,
Что не бежал за модой.

Я понял: первый ряд
Грозит бедой-невзгодой.

Я понял, что свое
Всего дороже место.
Мне по фигу вранье
Условного «Нацбеста».

Я не сошел с ума –
Мне лишнего не надо.
Я сам себе тюрьма.
И сам себе награда.

РАЗНЫЕ ЦВЕТА СЛОВ

черви черная дыра
чернь плечистая и черти
заклинанье чур-чура
заклинанье против смерти

белый ангел белый снег
белая как мел бумага
черно-белый человек
бледнолицый бедолага

жизнь летит-летит вперед
вроде пули томагавка
синий-синий небосвод
зеленеющая травка

Владимир Эфроимсон

ТЕМНАЯ РАДОСТЬ

* * *

«В начале жизни школу помню я....»

И трудно вспомнить, что еще я помню –
Такие вот причуды бытия.
Но мир, я помню точно, был огромней,
и в центре мира был, конечно, я.
И все стабильно было в этом мире,
устроено так просто и хитро,
автобус номер сто сорок четыре
возил меня до школы от метро.
Как по оси расставленные метки:
«Дом Ткани», дальше – ВЦСПС,
еще плакат на тему пятилетки.

Стационарный марковский процесс,
где лишь «вчера» еще чего-то стоит,
а все, что раньше, поросло быльем,
среди былья – замшелые устои
и ряской подернут водоем.

Потом – «Москва». Как много в этом звуке...
Приехали, и выходить пора...
Здесь начинались, кажется, науки,
здесь начиналась взрослая игра.

Что дальше? Жизнь, как точки в штрих-пунктире –
трезв иногда, порой навеселе...
А мой автобус сто сорок четыре
все также где-то катит по земле.

ПРО ЖУРНАЛ

Вспомнилось – с другом когда-то задумали мы, обнаглев, издавать
свой журнал,
спорили долго, сошлись лишь на том, что название звучать
не должно,

как рок-группа...

Странно, но даже сейчас для меня тот нахальный наивный запал,
если подумать, то в целом, быть может, не выглядит очень
уж глупо.

«Даже сейчас», «для меня...» – говорит старый циник, в помине
наивности нет,
точно предвидевший все (это просто – предсказывай плохо,
чем хуже,

тем будет точнее),
веряющий в совесть и разум не более чем в лотерейный счастливый
билет –

«Как наши шансы? Один к тридцати миллиардам? Серьезно?» –
и врет, не краснея.

Не состоялся журнал, да и бог с ним, с журналом, одним будет
меньше, – но вот
столько всего не сошлось, не случилось, не вышло, что страшно
подумать...

то есть не то чтобы страшно, но стоит подумать – и спазмами
крутит живот,
вот и глядишь на давнишние выходки без умиления, в меру
угрюмо.

Не получилось, не склеилось, не состоялось, не выпало,
не довелось –
как тот журнал – вспоминаются споры о том, как назвать,
а копнешь чуть поглубже –
лезут из памяти темная радость, какие-то слезы и скулы сводящая
злость –
пыль, шелуха, лепестки от засохшей ромашки, и пленка бензина
на луже.

Эк тут меня понесло!.. Дальше – запах, как будто морковный,
и голос,
чуть хриплый, без слов,
складка под платьем почти посредине бедра, трикотаж, и за ним
контуры тела,
смелость и робость (а может быть трусость?) в коктейле –
шагнул...

и потом был таков...

Ну почему, почему я не вышел тогда с ней курить?! Ведь она
 позвала,
и так сильно хотелось...

Все как всегда – стоит вспомнить хоть что-то, как сразу потянет...

при чем тут дурацкий журнал?
Ассоциации бесятся – связь между ними одна – ни фига
не сбылось,
как бы ни было грубо...
Да хоть пропал бы он пропадом, этот журнал! Привязался... совсем
зadolбал!
Да и припомнить могу только то, что не должен он был бы звучать
как название рок-группы...

Александр Самарцев

ИЗ КНИГИ «СЕЙЧАС»

«Сейчас» – пятиактная история любви. Все пять актов начинаются вступлением под одинаковым названием: «Занесенный шаг». Сложенные воедино, эти зачины, вероятно, являются собой поэму. Они – мощные опоры, на которых держится все строение.

В другой образной системе это маяки – ориентируясь на них: то на оставленный позади, то на высящийся впереди, – движется стихотворение внутри каждой части – сиюминутный, здесь и сейчас рождающийся из морской пены корабль с галеонной фигурой на носу (уместно, если ею будет Афродита), оно движется по непредсказуемым законам человеческой памяти, то есть во все стороны. Да, повторяю, ориентируясь на маяки, чтобы не сбиться с пути, но и по волне волн. По волне поэтической стихии.

«Я, Александр Самарцев, пишу эти стихи. Они рождаются сейчас, перед вами, жизнь слова совершается сейчас, а значит не имеет значения, происходит это двадцать шесть лет или минуту назад» – вот все, что «удержалось в сырой горсти», или все, что «влито как из чайника в мозг спинной».

Сильными мгновенными вспышками движутся эти стихи, и это воистину происходит на наших глазах: «скобками ладоней лицо настремч» – вспышка и запечатление.

Это и молитва: «Дай же мне дай шансом не пренебречь / хоть как вспышку лампочки с ней семью / разве я Твой замысел оскверню?» И чуть дальше: «дай на взлете старости на ветру / свечечку прикрыть – все грехи сотру».

И это миф. Где-то на четвертом маяке, когда путешествие близится к концу, начертано, нет не начертано, но написано быстро, со своей особой, неповторимо сбивчивой интонацией, с небывальным синтаксисом, второпях, но изобразительно и эмоционально бесстрашно и точно: «...от опеки тищусь завернуться в нас / вместо нас беспомощно закурив / к мифу прислоняясь – и ты будь миф / белой шубы затылка родных оград / о свободе чуда остаться над». Это превосходно. «Сейчас» становится «навсегда», обретая свободу чуда остаться над...

Есть о «занесенном шаге» в «Ключах Марии» Есенина, где он придает буквам русского алфавита человеческий образ. «Начальная буква в алфавите «а» есть не что иное, как образ человека, ощупывающего на коленях:

Знать зачем забуду как пух петлей
вьется отдается во мне со мной
маревом развилок на склоне сил
первым кто чью урну бы ни зарыл
возвратят зарытое тополя
шагу что заносится отворя
трафик в обе стороны млечный пик
и обезд дворами (он к нам привык).

Движение вперед? Выход книги – это и есть движение вперед, если она прекрасна. Как в данном уникальном случае.

Владимир Гандельсман

СПУСТЯ ДВА НЕБА

Мне тоже выдавали мастерок
поскольку был неважным инженером
сошлют на стройку ибо не широк
для дилетанта профиль в спектре сером:
влепить с размаху силой всей раствор
и подровнять зря не вертясь под балкой
нет писем – упивайся волей жалкой
а есть письмо – сожги его как вор

Бавулин из вагончика взбегал
пидал в плечо а я твоё сжигал
счастливое я и теперь сжигаю
за штабелями досок сидя с краю
подросший котлован отмыв плечом
на западе свечением краснела
полоска ветер ночь скорей бы смена
щель заливать болтаться ни о чем

Из этой из незалитой щели
сквозит спустя два неба как мы шли
и как сейчас наверное чужие
но если посмотреть свежей и шире
бумага очищается горит
а сердцу не дано да и прощанью
профессия такая – подражают
полоске спектра ветреной на вид

* * *

Kate Kapovich

Заискрилась днепровская старица
по-семейному близость величия
если замысла-вымысла свалится
гайка что ли какая отвинчена

баловать с ней под солнышком пенсии
золотящимся крапиной кобальта
типа грузила – но полновеснее
взмахом уток а ну-ка попробуй-ка

...За мостками намыта песочница
пункт закрытый чего-то там выдачи
где немедленно сторожу вскочится
он слюною от счаствия брызжучи
рвет железо учゅял вредителя

только тянет ко дну убедительна
все равно пригождается гаечка
и уклейка удачно подсечена
тенью ивы – опять же вдоль вечера
угасанием лая раскачана

ЗАНЕСЕННЫЙ ШАГ

2

В зал полуподвала где место есть
сдунуть безразмерные двадцать шесть
лет не помешает добрjak сосед
бреду размагнититься если бред
а его ветвленьям войти в тебя
от ствола зигзагами удивя
что вот я не я был намолен в том
«Миленький...» кому пелось жарким днем

Скобками ладоней лицо навстречь
Дай же мне дай шансом не пренебречь
хоть как вспышку лампочки с ней семью
разве я Твой замысел оскверню?
Посреди билбордов тусни взасос

неотмокших ирисов слабых роз
дай на взлете старости на ветру
свечечку прикрыть – все грехи сотру
с видом на трамвай на затор машин
времени запас – ты спешишь спешим
в «раскладушке» Nokia нерестясь
зубья смс-ок терзают связь
сумочка навыворот – истин две:
зажигалка сзади ключи на дне
миг окружлый терпкий еще как вихрь
я крещенски в этом и в нас двоих
то нырну то вынырну потому
в море вроде Мертвого не тону
соль твоих привычек густым-густа
мамкаешься с ними а то сестра
странствуя квартирой про цель забыв
сетью бликов ревностно золотых
дашь себя обнять отпустив шипы
через абы страх абы да кабы

Мой ты полюс полюс по всем счетам
робость безоглядного «аз воздам»
где-то между голodom и вином
тонкая пружинка-хамелеон
соколом аукнется и петлей
возвращая «миленький» – то есть «мой»
как не ждут как смеют не забывать
(пусть и проблесковую) благодать

ЗАКОЛЬЦОВАННЫЙ ЧАТ

Рук не убрать с колен – вот бы летели
то к разворотам то через билборд
и что-то лепетать от колыбели
до востряковских просек там где вброд
минуя мусор имена таблички
мы тоже станем приbraneы тепличны
витком двойным сближающих потерять
ты уступи кокетству ты примерь
похожее кольцо само притрется
оттенками взаимность без юродства
на выходе витрины отразят
морских драконов ломкого фасада

стеной для Цоя аркой где Булат
 рук на коленях перекрестный чат
 надрыв надрыва чтоб других не надо
 не надо чтобы мной юлил Арбат
 растягивал наземный позвоночник
 дав этот голос молниям в стекле
 из пулепробойных заморочных
 и нищим, и вождям навеселе
 Каким бы одиноким ни вернулся
 каким ни стыдно и еще тесней
 колечко примет два разжатых пульса
 обнявшихся однажды скоростей

РОЖДЕСТВО

Для чего я подослан
 к заокоченным нам?
 Во цветении плоском
 изрисуется храм
 он от стекол безлесных
 волны заспанных плеч
 множит свечками в безднах:
 «Вас не надо беречь!»

На морозе младенца
 отмечать не впервой
 в хороводе надейся
 отогреться волной
 Но и шлейф от мозольных
 истончаемых свеч
 стеклам вряд ли позволит
 два дыханья совлечь

* * *

Когда-нибудь я все скажу сейчас
 как ты сидишь услышанным светясь
 как будто щеткой «дворника» прижатый
 букет пока скрываюсь за углом
 (чай – надо ли гадать) и как потом
 от инея плиты оттерла даты
 отца и мамы как на мойке ждем
 я фоткаю

как ссорились не ссорясь
на рынке у метро при чем тут совесть
когда вдвоем а все равно вдвоем
Белеет шубка Телефон сгорает
Свет впитан Снег сойти не успевает
Зачем нам знать себя рулить руля
на месте обрываются земля
прополотая газовой ромашкой
рай после рая – это в сказке страшной
но между ними снова ты да я
как черточка меж дат под пленкой влажной
оттертая когда-нибудь однажды
зря светишься и может любишь зря

ИЗ ХРОНИКИ

Для милых толп для вежливых сует
включил добро на переходе свет
а мне вертеться камерой слеженья
застрявший уловить металлик-«Гётц»
мы видимость кто лишний здесь кто гость
опаздывая путаясь желтея
Есть несколько растянутых секунд
вскочить подхватом – а не то пойдут
зажжется нет ли стрелка поворота?
Не самое мучение и все ж
держась за рукоять случайно жмешь
(«я кроткая!») на тормоз отчего-то
Чуть-чуть займем у «зебры» (ладно б треть)
шаг влево – яблонь карликовых сеть
вдоль «сталинки» – щемящие базары
слиянней поддадимся толчее
вновь екнуло: я – это мы вчерне
откуда ни возьмись и ты без пары
Черта дрожит сдвигается прицел
я даже «здравствуй!» толком не успел
губами с шеи снять – расстаться негде
идут водоворотом ли стоят
как стиснут возвращенный космонавт
и ехать не дают в плоскнамперфекте

VERBA POETICA



НОВЫЕ ГРУЗИНСКИЕ ПОЭТЫ: ДЫХАНИЕ ПОТОКА

«Интерпоэзия» представляет двух удивительных русских грузинских поэтов. Тариэла подарил журналу Алексей Цветков, Тариэл подарил нам Темура. Люди разных поколений, очень разных жизней. Их объединяет волшебное сочетание «грузинской души» и прекрасного русского стиха.

Тариэл Цхварадзе – личность, которая рвется за пределы стиха, «из всех сухожилий». При этом Тариэл начал писать поздно, несколько лет назад, и такое впечатление, что эта накопившаяся энергия выливается в мощный поток.

Темура Элиаву мы услышали во время Батумского фестиваля в горах во время спонтанного чтения, устроенного гостями. Нас поразила манера подачи стиха, основанная на дыхании! Это как бы основное – следить не за словами, а за чистой эмоцией, дыханием, жестикуляцией, которые и передают энергию стиха. Нечто подобное я видел в исполнении классика Генриха Худякова.

Тариэл и Темур – замечательное, яркое явление в современной русской поэзии.

Андрей Грицман

Тариэл Цхварадзе

НЕМОЕ КИНО

* * *

В баварском тихом городке, в семье учителя латыни,
известной марки Mauthe часы стояли на камине.
Из года в год – тик-так, бом-бом,
до ноября в тридцать восьмом.
Учитель был не тех кровей,
а значит – бей!
Часы забрал погромщик Курт,
принес домой, завел – идут.
Тик-так, бом-бом, и вот война,
на фронте Курт, жена одна.
Сначала было все «зер гуд». Варшава, Осло, но досада,
в сорок втором попал в котел и был убит у Сталинграда.
А в сорок пятом в городок вошла советская пехота –
пощупать баб, добра набрать, понятно дело, всем охота.
Иван с Агнессой не был груб –
забрал часы и пару шуб.
А через месяц в тот же год
победу праздновал народ.
Часы протикали в Москве до смерти дедушки Ивана,
и дальше б тикали, но вот, став жертвой пылкого романа,
его неопытная внучка,
художница и белоручка,
хоть и противилась родня,
взяла и вышла за меня.
И как приданое, на раз,
часы уплыли на Кавказ.
Сто лет прошло, но и поныне,
на беломраморном камине,
часы учителя латыни –
тик-так, бом-бом, тик-так, бом-бом.

* * *

Будут люди, звери, птицы,
солнца диск, овал луны...
Спи, сынок, тебе лишь снится,
ужас нынешней войны.

Нет, родной, нас не раздавит
с кровли рухнувшей плитой,
не зацепит, не поранит
рикошет над головой.

Мама боженьку попросит,
и наверно от того
дядя летчик бомбу сбросит
мимо дома твоего.

И танкист с артиллеристом,
специально сбив прицел,
все снаряды в поле чистом
разорвут, чтоб ты был цел.

А когда войдет пехота,
самый добрый из солдат,
с благородством Дон-Кихота,
даст любимый шоколад.

Мама сказку дочитала,
про везенье на войне...

Бомба все же в дом попала,
так и умерли во сне.

* * *

Достанет вечная жара, улыбка сфинкса, дым кальяна,
и Моисеева гора, и ржавая вода из крана,
и приторный на вкус кишмиш, и зов к намазу муэдзина,
и недокуренный гашиш, и зазывала магазина.

И так захочется назад, скорее в горную прохладу,
где есть и дождь, и снегопад, где каждый рад тебе, как брату.
Продав квартиру с бараклом, с забитым долларами кейсом,
я улечу туда, где дом, без багажа ближайшим рейсом.

И встретит родина не та, не та, что виделась ночами.

И отрезвленья пустота, и пожимание плечами.
Мол, что поделаешь, браток, что есть, то есть – живи как знаешь.
Здесь каждый тронулся чуток, за год и ты таким же станешь.
И стал. Из дома ни ногой. Сижу, курю, стучу по «clave»,
и слышу: рядом за стеной сосед читает «Отче Аве»...

* * *

Смотрю в немытое окно
на старый двор, где в домино
играют сутки напролет
из года в год.

Куда пригнал свой «Мерседес»
за двадцать штук дворовый Крез,
из Амстердама через Кёльн.

На белый клен
взобрались местные коты
ночной чернее темноты.
Соседка в тазике свое,
несет развешивать белье,
и через весь квадратный двор
сплетут немыслимый узор —
бюстгальтера, носки, трусы,
штаны из выцветшей джинсы
и крик капризный малыша,
такой, что звон стоит в ушах,
а дворник, что с похмелья злой,
по нервам шаркает метлой.

Уже давно
не мыто пыльное окно,
сегодня надо бы помыть
и дальше жить.

* * *

Чайка металась в заливе,
 chirкая гребень крылом,
 в сентиментальном порыве
 я растворялся в былом.
 Все, что вчера еще грело,
 как прибалтийский бальзам,
 запросто так, между делом
 время отправило в спам.
 Тлеет в руке сигаретка,
 мысленно ролик кручу,
 памяти ржавая клетка
 не поддается ключу.
 Чайка в стоп-кадре зависла,
 что-то припомнилось, но
 вновь погружаться нет смысла
 в титры немого кино.

* * *

Перестану писать про политику,
 про бомжей и распущенность баб,

и в угоду иркутскому критику
поклянусь не использовать ямб.
Пьяным утром над строчкой хирея,
с горьким кофе и без сигарет,
попытаюсь размером хорея
передать иркутянам привет.
Не учился я в литинституте,
не уверен, что это хорей,
но кричу на двадцатой минуте
португальцу: «Рональдо, забей!»
И положит впритирку со штангой
мяч послушный, как будто рукой...
Дым костра и мелодия танго
закружат над кристальной водой.
Ближе к ночи над лысою сопкой
зарыдает сырьем саксофон,
и с последней пронзительной ноткой,
потревоженный вздрогнет Ольхон.
В небе чистом над морем Байкальским
тихо, тихо плывет самолет,
а у летчицы влажные глазки,
она видит цветы и поет.
Голос рвет перепонки и «крышу»,
долгий день на секунды дробя.
В перезвоне бутылок расслышу:
«Она любит тебя, она любит тебя, она любит тебя...»

* * *

Где-то в маленькой стране, в городишке небольшом
домик был, и жили в нем –
двоє братьев, их отец,
и в скворечнике скворец...
Жили бедно, голодали, социалки не хватало,
да и ту уже полгода государство перестало
выделять семье-изгою...
Стены в плесени зеленой,
кровля ржавая с дырою.
Младший брат учился в пятом, старший был уже в восьмом,
бездработный батя с горя заливал глаза вином.
Засыпал тревожным сном на ободранном диване.
Три таблетки валидола, мутная вода в стакане
на полу, на всякий случай –
сердце часто барахлило

от сивушного этила.

Старший брат в буфете школьном ежедневно в долг брал булку и делился с младшим братом. Половину прятал в сумку и съедал, когда желудок ныл от боли ближе к ночи...

Жизнь была не мед, короче.

А когда в буфете школьном долг превысил все лимиты, мальчик перестал брать булку, говоря: «Мы с братом сыты...»
Через день, где жил скворец,
на суку висел малец.

Темур Элиава

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

ПРОСТАЯ, НЕИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ

1.

Он не вскроет вены. Она не повесится:
постоит немного в дверном проеме.
Запомнит его таким:
медленным, вниз по лестнице...
Вот и весь эпилог истории,
где вдвоем они
смешные, веселые, любят фокстрот,
назло соседям рояль насиовать.
Она в восторге была от его острот,
смеялась, как дура Васильевна.

2.

Но не дом
– карточный домик.
Тесно в нем,
на девятом месяце.
Вот и вверх дном...
Он: вниз не спеша
по лестнице...
Она: нагая в дверном
проеме.

3.

Теперь ему за сорок. Неуверенный, робкий.
Живет под просвистанным потолком.
Пахнет кофе и табаком.
Хранит фотокарточки
в обувной коробке
и вечно думает ни о ком.

Ей за тридцать.
 Ну, разве возраст, не так ли?!
 Занята театром да кабаком...
 Все эти афиши, спектакли...
 Но временами и ей ни о ком,
 ни капли.

4.

Их шар голубой, так и вертится:
 бессонница, стресс, невроз.
 Дай бог им однажды не встретиться,
 чтоб жили, как жили – врозь.

ОСЕННИЙ МАРШ

Испорчен мой почерк, как, впрочем, и почки, и печень.
 Испорчен, испачкан, искрикан, исстручен, истрачен.
 И лечат, и лечат, и лечат, и лечат, и лечат
 то отче, то порча, а значит, им нечем, а значит,
 ни строчки на белом всю осень — дороги и лужи.
 Меж ребер в пробелах таблетки, чернила и рвота.
 Всё хуже и хуже, и хуже, и хуже, и хуже,
 и «плуйся», и «тужься», и «ну же», и дружно — а вот вам!

Ты помнишь закаты, восходы и титры в начале?
 На эти уклоны размытых дорожных обочин
 роняли с высоких, вороньих, промерзлых причалов
 веснушки, веснушки. Ты помнишь веснушки? А впрочем,
 не стоит, оставим. Я мерзну в телесной блокаде,
 в глубоких притонах обложен, обношен, обстрижен.
 Давно уже сняты восходы, закаты с прокатов,
 и рвутся под ливнем на лавках табачных афиши.

Всю влагу выводят из кожи, все камни, все соли.
 Разбиты все окна, все двери, все тюрьмы, все склепы.
 Вывозят вагоны за город смешных и веселых,
 и тонут в тоннелях, и гаснут, и глухнут, и слепнут.
 И мокро, и сырьо, и серо, и страшно, и тошно,
 стоят карусели, стоят карусели, и пустошь.
 По скверам, по паркам, летают и липнут к подошвам
 веснушки мальчишек, которых обратно не впустят.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ШКАФА

В тесном шкафу совокупность причин и привычек
обретает свой облик
(образ – согласно исповеди наскальной),
и выносит его на холодный песок
глубокого обморока
вода морская.
Здесь дом был,
дом.
Долгое интермеццо
на старой веранде сменилось осенью,
где без особого интереса
до всеобъемлющей интервенции
курили... бросили.
Он, облеченный во что-то черное,
всю непрерывность сюжетной линии
снимает номер для обреченных,
неисцелимых...
Час до отлива:
смотрит за горизонт, молчит человек из шкафа.
Центром обозначает
точку опоры, ракурс, угол своей оси,
и валятся на него отдаленные крики чаек
Острые, как «спаси».

* * *

Расскажи мне,
как это – жить?
Газеты, будильник, тапочки,
дома – все эти словесные выражи,
чтобы завтра у шефа в тряпочку
так искусно, умело врать,
мечтать об отпуске в санатории
и глумиться над теми, которые
точно знают, что умирать
лучше всего у моря,
ткнувшись лицом в песок,
как в подушку, а то и вовсе
в тридцать семь или тридцать восемь
продырявить себе висок.
Как это – быть тобой настоящим?
Настоявшем на настоящем,

мудрым пещерным ящером.

Как?

Все, что есть – черновик, наброски.

И причины довольно веские,
чтобы было до боли не с кем
поседеть или посидеть.

Но, бывает, приходит Бродский,
и на фоне эффектно-брюском
нам обоим не по себе.

Охладевши, как лик иконный,
город ляжет на подоконник.

Город – антициклон.

И почти что безмерно долго,
как живые, молчим, и только
муха бьется в стекло.

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

1.

Все координаты спутав
в раме картинной старой,
клином застыла будто
птиц перелетных стая.

Холод собачий, лютый
рёбра стальные вставил.

Стали чужими люди,
будто их и не стало.

Вечными стали спины
в дождь от дождя бегущих.

Чай уже час как стынет:
горче на вкус и гуще.

Глушь!

Притихли стоны,
плач и пощечин сдачи.
И ничего не стоит,
и ничего не значит.

2.

(«Верен, любим и дорог»
– трижды солгав, уснула.)
Тени по коридорам
в пропасть толкали стулья
– вешались.
Звали тени.
Тени, таились сколько?!
Тени врастали в стены.
Тени сбивали с толку.
Тени расстались с нами.
Тени растают просто.
Тени те станут снами
всех пропотевших простынь.
Но в измеренье чуждом,
в странных
туманных странах,
может, каким-то чудом,
тени те нами станут,
и двойниками прежних
будут, доколе будут.
Будут провалом, брешью
в строгой фаланге судеб.

3.

(«Дорог, любим и верен»
– произнесла устало.)
Ложь разошлась по венам,
слаше всех истин стала.
Ложь торжеством поила,
правды распутав пряди.
Ложь та была повинна
в недопустимой правде.
Сестры: седые свахи
ложь предавали сплетням.
Ложь та взошла на плаху
правдой
самой последней.

4.

Мертвая и пустая
комната стала склепом.
В раме картинной старой
клином застыло... слепну.
Холод собачий, лютый,
ребра стальные вставил.
Стали чужими люди,
будто их и не стало.

Лилия Газизова, Сергей Шабуцкий

О ГАРМОНИИ, БОКОВЫХ ТРОПИНКАХ И ПОЭЗИИ, СТОЯЩЕЙ ЗА ТЕКСТОМ

Л.Г.: Находясь в Казани, ты узнал, что не Кама впадает в Волгу, а Волга – в Каму. Мне кажется, эта новость непосвященным может показаться шокирующей, поскольку рушит какие-то сложившиеся представления о мире, стереотипы.

Вот, скажи, пожалуйста, как это можно соотнести с поэзией? Что такое сегодня Волга, и что – Кама?

С.Ш.: Во-первых, я до сих пор не понимаю, кто из них тогда впадает в Каспийское море, как нас учили в курсе школьной географии. Волга же впадает в Каспийское море? Каким образом она впадает еще и в Каму при этом?

Л.Г.: В месте их пересечения Кама значительно шире и полноводнее. А, как известно, малое впадает в большое. Но главный фактор, определяющий, кто чей приток, – это возраст. Геологический возраст речной долины. И древняя долина Камы старше долины Волги. Я специально интересовалась этим вопросом. Еще до ледникового периода, если уж говорить правильно – до последнего ледникового максимума, Волги в современном виде не было, но существовала Кама, которая, объединяясь с Вишерой, непосредственно впадала в Каспийское море. Вот.

С.Ш.: То есть в Каспийское море все-таки впадает Кама, получается. Соотнести это с поэзией несложно. Вообще-то, у любого человека, который серьезно начинает заниматься стихами, хотя бы как читатель, такие «географические открытия» происходят постоянно. Прямых аналогий можно найти миллион, но, наверное, самое главное здесь – это принципиальная внутренняя готовность принимать непривычные, неожиданные для тебя вещи. То есть под действием логических доводов или собственных наблюдений ты регулярно меняешь какие-то шаблоны, которые у тебя установились в голове. Вот этим, наверное, отличается не просто адекватный человек от неадекватного, а человек, чувствующий поэзию, от человека поэтически глухого. Если ты затвердил для себя еще в детстве, что поэзия – это то, то и то (ну вот как Волга впадает в Каспийское море), затвердил, что поэзия – это, например, красивые слова в рифму, и не готов принять, что это может быть вовсе не так,

значит, с поэзией у тебя отношения не сложились, и не выйдет из тебя не только автора, но и читателя.

Л.Г.: Сегодняшний майнстрим в поэзии – что это такое?

С.Ш.: Для меня майнстрим – это такая условная граница, вертикальная линия, справа и слева от которой находится спектр того, что я готов воспринимать как поэзию. То есть, влево по оси «х» идут всевозможные, скажем так, авангардные практики, и чем они дальше от центра, тем они труднее для понимания и требуют все большей авторской и читательской подготовки. А вправо от этой вертикальной линии находится «традиционная поэзия», в которой тоже пока еще можно делать открытия. Понятно, что чем дальше вправо от условного центра, тем меньше открытий, тем больше штампов, и в пределе это уже не поэзия. Но пока предел не достигнут, там тоже может быть много интересного. Короче говоря, для меня майнстрим – это не то, что сейчас модно, не сегодняшняя магистральная линия, которой придерживается большинство пишущих, если таковая вообще существует. Это, скорее, некий центр масс. А что касается тех, для кого майнстрим – это школьная силлаботоника, которую надо охранять, то тут и предмета для обсуждения нет, по-моему. Во-первых, силлаботоника – всего лишь одна из многих форм организации текста, никак напрямую не связанная ни с авангардностью, ни с архаичностью, а во-вторых, то, что жизнеспособно, в охране не нуждается, а трупы гальванизировать забавно, но бессмысленно.

Л.Г.: Примеры?

С.Ш.: Ну, чтобы не быть голословным, это стихи Марии Галиной. Или, например, Линор Горалик. Мне кажется, что это майнстрим в том смысле, что он лежит как раз посередине между левым и правым спектром, между экспериментом и традицией. Вот это для меня майнстрим.

А для тебя? Как бы ты определила это понятие? И насколько то, что ты делаешь, с ним соотносится?

Л.Г.: Майнстрим для меня – понятие надуманное. И не знаю, как соотносится с так называемым майнстримом то, что я делаю сегодня. Хотя мне интересно взаимодействие объектов и субъектов в современной поэзии. Антропологически любопытна иерархия – всякая – сложившаяся в русской и российской. Всегда интересно понять: кто – ты и кто – все остальные. И как, черт возьми, им удается иногда написать такое невозможно прекрасное!

Последние десять лет я пишу исключительно верлибры, хотя начинала с силлаботонических стихов. Парадоксальным образом, этому способствовали и драматические обстоятельства моей биографии. Позволив себе быть свободной в жизни, изменив себя и свое отношение к себе и миру, мне захотелось нарушить и рамки *метра* в письме. В верлибре огромный потенциал, который по-настоящему не распознан. Надеюсь, с него слетит и идеологическая шелуха, которую видят так называемые наследники «подлинных» традиций русской поэзии.

Вот интересно, почему верлибры вызывают порой непонимание и удивительного накала ненависть даже образованнейших поэтов, которые придерживаются классической ориентации?

С.Ш.: Прежде всего инерция. Если ты сформировался во времена господства какой-то одной системы, то тебе кажется, что она универсальна. Кроме того, когда человек вообще не очень чувствует поэзию, он нуждается в подпорках. Он не понимает, что Дух дышит, где хочет, поэтому ему нужны некие формальные признаки поэзии, дорожные знаки. Вот таким знаком может быть силлаботоника. Нашел сбой в регулярном метре или неточную рифмовку, можешь считать стихотворение слабым, а себя – экспертом. А если регулярного метра нет, значит, это вообще не стихи.

Л.Г.: Я знаю, что ты, как и я, высоко ценишь Федора Сваровского. А еще кого-то можешь назвать?

С.Ш.: О присутствующих можно?

Л.Г.: Нет.

С.Ш.: Хорошо, не буду, хотя ты сейчас сильно усложнила мне задачу. У меня нет четкого разграничения в голове между верлибром и неверлибром. Там, где мы начинаем задумываться о жанровом определении, кончается свобода. Того же Сваровского никак нельзя назвать чистым верлибристом. Он пользуется самыми разными способами организации текста. Поэтому мне сложно сходу назвать кого-то, кто последовательно пишет именно верлибром. Отношение к творчеству того или иного автора у меня формируется не по этому признаку. Большинство любимых мною авторов не назовешь ни последовательными верлибристами, ни последовательными силлаботониками. И у Марии Степановой, и у Юлия Гуголева, и у Андрея Егорова, и у Екатерины Соколовой, и у Ольги Брагиной, и у Льва Оборина, и у Дарьи Ивановской, у Ленни Ли Герке есть примеры использования самых разных техник. В

том числе и верлибры, конечно. И вот тут бы мне как раз назвать Лилию Газизову, как пример автора, чьи стихи мне очень нравятся и который при этом позиционирует себя как поэта, работающего именно с верлибрами.

Л.Г.: Спасибо. Я бы также выделила имена Дмитрия Данилова, Ии Кивы и Екатерины Симоновой, которые...

С.Ш.: Да, несомненно, несомненно. Очень люблю этих авторов. Но вот об этом я и говорю: невозможно сразу назвать всех, кого бы хотелось.

Л.Г.: ...может быть, не очень мне близки, но я восхищаюсь тем, что и как они делают, могу это понять и оценить. И большой авторитет для меня Вячеслав Куприянов, который, как мне кажется, знает о верлибре все... Вот и повод проанонсировать мой проект «Современный русский верлибр», в котором приняли участие многие известные русские поэты. Книга выйдет в издательстве «Воймега». Спасибо Саше Переверзину, который, будучи поэтом, ориентированным на традицию, как издатель отличается тем, что приемлет самые различные тренды современной поэзии. При этом я считаю верлибр лишь одной из поэтических техник, выделять которую в нечто самостоятельное довольно странно. Никому же в трезвом уме не придет в голову собрать сборник «Современный русский четырехстопный ямб», хотя... системологически это может быть интересно, смотря как подать. Просто русский верлибр довольно долго занимал маргинальное положение, и это пока позволяет говорить о нем как о явлении. Уверена, скоро он будет восприниматься всеми, а не только просвещенными людьми, на правах одной из многих поэтических техник.
Поговорим о литературных изданиях. Выделяешь ли для себя какие-то журналы, кроме таких титанов, как «Новый мир» и «Знамя»?

С.Ш.: Разумеется. Мне симпатичен «Homo Legens». Он одновременно и утончен, и демократичен. Его создатели не жалуются, что интерес к толстым журналам падает, а спокойно собирают материалы, которые соответствуют их представлениям о качестве. То есть делают свое дело. Интересно, кроме того, читать журналы, издающиеся не в России. Это и израильское «Зеркало», и «Берлин. Берега», и украинский «ШО». Хотя последний в этом ряду стоит особняком, он все-таки описывает именно украинские реалии.

Ну и как же без «Интерпoэзии»! Как я понимаю, вы ставите перед собой интересную задачу не только объединить, описать русско-

язычное культурное пространство, попутно «децентрализовав» его, но и обогатить его за счет других культур, прежде всего англоязычной. И здесь я как раз хотел тебя спросить: насколько то, что я сейчас сказал, совпадает с твоим представлением о журнале? В каком направлении хотелось бы его развивать?

Л.Г.: Вполне совпадает с твоей трактовкой. Главный редактор «Интерпоэзии» позиционирует издание как проект, призванный объединить талантливых авторов всего мира, поверх барьеров и границ. Интересно, что члены редколлегии журнала живут в разных городах-странах. Такая пестрота географии в итоге, возможно, и дает более объемный взгляд на происходящее как в мире, так и в литературе. Нам хотелось бы продолжать знакомить читателей и коллег с новыми произведениями наших постоянных авторов – Алексея Цветкова, Бахыта Кенжеева, Владимира Гандельсмана, Юлия Гуголева, Владимира Друка, Александра Кабанова, Вадима Месяца, Сергея Жадана, Александра Стесина, Марианны Кияновской, а также открывать новые имена. Особое внимание хочу обратить на переводы мировой поэзии на русский язык.

В 2016 году «Интерпоэзия» представила проект «Непрямой массаж сердца» группы «Вменяемые», членом которой ты являешься. Там же были опубликованы стихотворения Алексея Кащеева и Владимира Жбанкова. Как сложились «Вменяемые»? Это литературная группа или просто несколько друзей?

С.Ш.: Поначалу мы были просто друзьями, которые часто выступали вместе. Постепенно мы обнаружили, что наши взгляды на поэзию и на то, что мы делаем, во многом схожи. Взять те же «смертяшки». Это мы так между собой называем некую веселую макабричность, которая свойственна всем троим. Это никогда не было школой. Мы не вырабатывали никаких концепций, не писали манифестов. Мы просто долго вместе и, видимо, в какой-то степени влияем друг на друга. Литературной группой мы стали в 2014 году, когда поехали в Киев на фестиваль «Киевские лавры». Для участия в этом фестивале нужно было заявить свой проект. Фактически проект у нас уже сложился, нам оставалось только придумать название и описать его концепцию. Повторюсь, это был май 2014 года, то есть только что был Майдан, только что был аннексирован Крым, только что началась война в Донбассе. И на наших глазах менялось отношение к русским. Если еще зимой на той знаменитой майдановской елке, которую превратили в арт-объект, висел плакат «Русских любим – Путина презираем», то после «крымнаша» любить россиян уже мало кому из украинцев хотелось. И мы поняли:

сейчас очень важно показать на собственном примере, что не у всех граждан России в голове коричневая жижа и что по-прежнему есть люди адекватные. Или вменяемые. Вот отсюда и возникло название «Вменяемые».

Л.Г.: Получается, ваша группа основана не столько на какой-то эстетической концепции, сколько на мировоззренческих принципах?

С.Ш.: В общем, да. Только здесь надо трактовать шире. Вменяемость имеется в виду, конечно же, не только политическая или этическая. Ну, вот о чём мы говорили, когда человек не мыслит поэзию вне формальных рамок, потому что ее не чувствует, – это невменяемость. И таких маркеров много в самых разных областях. То есть вменяемые – это те, которые могут пройти такой воображаемый тест с положительным результатом.

А вот ты, насколько знаю, никогда ни в каких литературных группах не состояла. Тебе не близка идея такого рода объединений? Могла бы ты – чисто теоретически – представить себя участником или организатором одного из них? И можешь ли назвать какие-то существующие сегодня литературные группы, которые интересны именно как некое целое?

Л.Г.: С детства – настороженное отношение к группам. Группа – это немножко странно. И это – мягко говоря. Да, в группе легче, ты находишься под прикрытием, пусть даже мифическим. Но ведь поэту важно ощущать страх и даже ужас перед миром. Именно тогда, наверное, пишется что-то настоящее. Понимаю, что я, вероятно, слишком категорична, но я искренне так думаю. Когда-то я занималась легкой атлетикой, бегала четыреста метров с барьерами – кстати, один из самых сложных видов. Была чемпионкой России среди девушек. Мне часто приходилось совершать пробежки в одиночестве. Я замечательно себя чувствовала: существовали лишь я и весь остальной мир. Тогда, наверное, и усугубилось чувство почти постоянной одинокости.

А как бы ты оценил себя сегодняшнего, включая всевозможные «измы», чего ты приверженец, какое направление развиваешь? У тебя сложившаяся интонация, ты узнаваем. Я думаю, не только друзья, но и коллеги, критики вполне могут узнать твое стихотворение, если оно даже не будет подписано. Твои предтечи и любимые поэты? Иначе говоря: чьих будешь?

С.Ш.: Ох как... Сейчас попробуем. Ну, прежде всего, в какой-то момент я понял, что... (хм, мысль довольно банальная, но до сих пор

не всеми воспринимается как очевидная) любые формальные элементы в тексте должны быть обусловлены тем, собственно, что там написано, а не какими-то внешними требованиями – традицией, модой, школой и т.п. Там не должно быть, условно говоря, не несущих элементов. Соответственно, моя интонация – если она действительно узнаваема – идет от того, что наиболее естественно для меня. Я стараюсь быть естественным, я стараюсь... нет, быть собой невозможно. Мы не бываем собой даже в дневнике. Или, может быть, в первую очередь в дневнике не бываем. Короче говоря, я стараюсь делать то, что для меня естественно. Но естественно не в силу привычки, инерции, а в силу каких-то более фундаментальных моих свойств.

Когда-то у меня было не то чтобы представление о своем «творческом пути» – скорее некий идеальный мир, в котором я обитал, некое ощущение, которое я очень боялся потерять. Я боялся сбить эту настройку и старался искать только то, что, как мне казалось, этой настройке соответствует. Это было, конечно, абсолютно неверно, с моей сегодняшней точки зрения. Так делать не надо было. Сейчас, наоборот, я ищу все время что-то, чего я не знал раньше, чего представить себе не мог. Вот в этом смысле, конечно, да, Сваровский для меня явился таким открытием, но это тоже было достаточно давно. То есть не только собственно Сваровский, а то, что неформально называется «новым эпосом». Находки могут быть совершенно в разных областях. Например, если взять стихи Анны Логвиновой, там поэзия устроена так, что она содержитя между любыми элементами, ее можно только почувствовать, но ткнуть и сказать, где она есть, невозможно. То есть это поэзия, стоящая за текстом. Не знаю, можно ли этому научиться, но чувствовать такие вещи необходимо.

Может быть, у тебя по-другому? Важна ли для тебя некая, что ли, самодисциплина, когда выбрал путь и не отвлекаешься на боковые тропинки?

Л.Г.: Наверное, я ищу гармонию. Искали волшебные эликсиры и камни, вечную женственность, а я вот... Ты хорошо сказал: «поэзия, стоящая за текстом». Собственно, это и есть гармония. Я и начала писать стихи, будучи подростком, потому что не нашла гармонию в жизни и разочаровалась в людях. Это сейчас я простила и мир, и человечество, смешно звучит, да. Если серьезно, средний уровень современной поэзии необычайно высок, и сегодня на первое место встает личность автора. Есть ли ему что сказать этому миру? Хочется верить, что я способна сообщить ему нечто единственное. По поводу самодисциплины и боковых тропинок: я стараюсь ограничивать себя лишь в количестве письма. Я прекрасно

понимаю, что писать после великих есть большая наглость. Пока не начнет рваться изнутри и зудеть по-настоящему, не записываю. Конечно, я читаю современных авторов, чтобы не изобретать велосипед, чтобы быть в курсе, чтобы понимать, куда катится мир. А куда идет поэзия? Мне кажется, что люди, интегрированные в так называемый литпроцесс и, в общем, примерно представляющие, что каждый, в свою очередь, собой представляет, – сегодня этим людям порой становится скучно. Я знаю, чего ожидать от важных для меня авторов, и они продолжают не удивлять. То есть взятая ранее вполне замечательная планка высоты становится тормозом, поэт ее придерживается, выше не прыгает – непонятно, что там. Или перед тобой, как автором, такой вопрос не стоит – ты просто пишешь, когда тебе пишется, не рассуждая особенно, куда движется поэзия?

С.Ш.: Конечно, я не думаю, куда идет поэзия, когда пишу. Другое дело, что представления о том, что сейчас делается, должны быть, но о них не надо думать. Достаточно интуитивного понимания. Ясное дело, невозможно создавать что-то интересное в полной изоляции, потому что все, что ты можешь в полной изоляции создать, уже давно создано другими. Так вот, куда идет поэзия. Я думаю, что она идет одновременно во все стороны. И это очень интересно. Чем закончится – не знаю. Возможно, поэзия разбредется по разным жанрам, потому что уже сейчас крайние точки настолько не похожи друг на друга, что там уже начинают действовать центробежные силы. То есть, возможно, мы скоро вообще перестанем говорить о поэзии как о едином роде человеческой художественной деятельности. Но это нормально. Точно так же, как в свое время не было разницы между ритуалом, песней, стихами, прозой и так далее. Постепенно они все разбрелись в разные стороны и, возможно, когда-то кому-то это казалось катастрофой.

Ты, кстати, как-то сказала, что с некоторых пор тебе перестали быть интересны синтетические жанры, например поэзия плюс театр, поэзия плюс видео, поэзия плюс музыка. Почему? Ты просто себя в них не видишь, или ты считаешь, что у них в принципе нет перспектив?

Л.Г.: Примерно двадцать лет назад я заявила в разговоре или интервью, что будущее в искусстве за синтезом жанров. Вот уж *never say never again*. Сейчас я скажу ровно наоборот, и, не исключаю, снова буду не права. Мне кажется, синтез жанров приближает нас к шоу и коммерции. В 2002 году в одной известной профессиональной студии в Москве был снят видеоклип на мое стихотворение «Княжна». Я там скачу на лошади по одному из арбатских переулков. Это от-

дельная занятная история, как снимался видеоклип. Презентация прошла в Центральном Доме литераторов. На афише, которая сохранилась, кстати, было написано: «Презентация первого в России поэтического видеоклипа». Смешно, да? Тем не менее, я была одной из первых. Это уже потом появился термин «видеопоззия» и т.д. В 2001 году также одна из первых выпустила аудиоальбом поэзии. И я как раз читала стихи под музыку. И мне это тогда ужасно нравилось. Сейчас нет.

А по поводу «поэзия плюс театр», уже все сказано сто лет назад Мариной Цветаевой: «Дело актера и поэта – разное». Я не считаю, что нужно облегчать задачу читателя-слушателя всевозможными перформансами и прочим. Безусловно, это часто выглядит зрелищно и забавно, привлекает аудиторию, но и к поэзии часто не имеет отношения, потому что используются разные, противоположные механизмы воздействия.

Сейчас для меня все очевидно и просто: тексты желательно читать в одиночестве, а стихи, если это возможно, слушать в авторском исполнении и без музыкального сопровождения. Остальное – это уже эстрада.

С.Ш.: Раз мы заговорили о развитии поэзии, давай вспомним литературные фестивали. Ведь каждый из них (хорошо, лучшие из них) – это не просто набор выступающих. У фестиваля есть концепция, это как бы такое метапроизведение. Вопрос к тебе, как к куратору, создателю Международного хлебниковского фестиваля «Ладомир». Как ты сама для себя формулируешь его концепцию, и связана ли она с развитием поэзии, с освоением ею новых областей?

Л.Г.: Когда-то Хлебников, который нигде подолгу не задерживался и провел в Казани самый длительный отрезок жизни – 10 лет, заявил, что поэты должны путешествовать и петь песни. Выступать – это всегда хорошо и радостно. Особенно перед студенческой аудиторией. Особенно перед подготовленными слушателями. «Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие...» – писал Осип Мандельштам, вот мы и пытаемся обжить эти ходы. Казанские поэты получают возможность сопоставить то, что они делают, с творчеством ведущих поэтов. А мне доставляет радость знакомить казанцев и елабужан с хорошими поэтами России и мира. Также я бы хотела назвать несколько казанских имен, которые, как сейчас принято говорить, ставят Казань на литературную карту мира. Это Денис Осокин, Глеб Михалев, Анна Русс, Адель Хаиров, Алексей Остудин, Айрат Бик-Булатов, Наиль Ишмухаметов и многие другие, кто, может,

не так известен, но важен для понимания казанской поэзии как своеобразного явления.

Я и сама довольно часто участвую в литературных фестивалях. Один из самых любимых – это «Киевские лавры». Александру Кабанову удается, во-первых, держать высокую планку, приглашая знаковые фигуры современной поэзии, во-вторых, каждый последующий фестиваль принципиально отличается от предыдущего, то есть он очень живой и откликающийся на современные реалии. Из европейских фестивалей я бы выделила – «Стружские вечера поэзии» в Македонии, который проводится с 1962 года. Однажды мы, участники, читали стихи на мосту реки Црни-дриим, чье название переводится как «Черная река». Для поэтов на мосту была выстроена сцена. Для слушателей были расставлены стулья на берегу. А река своим быстрым течением уносила наши слова вдаль. Было ощущение, что мы читали стихи реке. Поздний вечер, яркие софиты, вдалеке слышится голос муэдзина, призывающий на молитву, и река. Запомнилось.

Я знаю, что ты как автор хотел бы состояться больше, чем сейчас, а хотелось бы тебе стать родоначальником какого-то направления, например?

С.Ш.: С трудом себя представляю в этой роли, но хотелось бы, наверное. Скажем так, если это случится, мне будет приятно, но специально для этого ничего делать не буду. Я все-таки не готов идти за теоретическими выкладками, не готов составить себе координатную сетку того, что происходит, чего не хватает, и рыть в этом направлении. Я так не умею, и мне лень. Хотя я иногда представляю, но это просто фантазии, что, будь я носителем не очень распространенного языка, у меня был бы соблазн стать главным национальным поэтом, нормализатором литературного языка. Потому что до сих пор не у всех есть свои условные Пушкины. Сейчас мы знаем, как это в принципе можно сделать. Как переводить наработки мировой поэзии на родной язык, искать языковые возможности для этого и создавать новый инструментарий. Это технически интересная задача.

Л.Г.: Технически интересная, да. Хотя я все же о другом. О том, чтобы сказать на своем языке что-то новое по-новому. Но впереди – некоторое количество жизни, хочется думать. И я думаю, мы еще что-нибудь сообщим этому миру.

Григорий Стариakovский

К 200-ЛЕТИЮ УОЛТА УИТМЕНА

Это можно назвать по-разному: покачиванием маятника, перестуком поршней паровой машины, бесконечной протяженностью дыхания. Прикосновение к предметам, явлениям, людям – голосом, зрением, слухом, *мякиной ладони*: я – *тот, который, тот который... вижу, слышу, осязаю*. Читающий тоже видит, слышит, осязает. Мир Уитмена предметен постольку, поскольку является объектом проговаривания; все во вселенной поэта исчислено и основательно закаталогизировано – от *Билля о Правах* до прыщавой проститутки (хмельная, она обметает грязной шалью нью-йоркскую мостовую). Все идет в работу – щебенка равенства и братства, жирные стекла бродвейских витрин (*все утро смотрю на бродвейские витрины, распластываю плоть носа о толстое стекло...*), рокочущие басы кучеров, чьи допотопные омнибусы курсировали по Бродвею в первой половине XIX века (*своенравное и быстроглазое племя, вспоминает Уитмен*).

Стихи, живущие по «принципу нарастания-приращения», по выражению Джеймса Райта. Уитмен исчисляет предметы и состояния, будто в процессе исчисления можно заново воссоздать мир, остановив поток времени. Впрочем, Уитмен почти всегда смотрит поверх времени, обращаясь к предшественникам и потомкам как к соседям по лестничной клетке; Гомер, Эсхил, Данте, Шекспир (и другие *mighty ones*) для него вроде узловатой палки, прихваченной на всякий случай, для защиты от бешеных псов. Оказывается, мир можно сотворить заново без оглядки на *the mighty ones*: поэт меняет библиотечную пыль на дорожную. Америка – главная героиня его стихов. Уитмен «проговаривает» Америку, как одно бесконечное стихотворение: прекрасный, мужественный Гудзон (*masculine Hudson*) изливается, говорит он в предисловии к первому изданию «Листьев травы» (1855), в тебя, в каждого обитателя этого континента; гнутые гвозди заливов Виргинии и Мэриленда, рваная береговая линия Массачусетса.

Уолт Уитмен, космос, сын Манхэттена... Уитмен начинается в городе; его стихи пропитаны нью-йоркским говорком: это – *тот самый город, и я один из его граждан; все, что интересует остальных, интересует и меня – политика, войны, рынки, газеты, школы, мэр и городские советы, банки, тарифы, пароходы...* Стихи Уитмена напоминают манхэттенскую сквозную улицу в предзакатный час, с обязательным рыжим солнцем, которое зарывается в землю где-нибудь в Патерсоне или в Уэйне. На материке, за Патерсоном и

Уэйном, продолжается уитменовское *вижу, слышу, осязаю*. Можно сесть в машину, отъехать от города, выйти на обочину, оглядеться и услышать наплывающий голос поэта (как он однажды услышал пенье цикад: *какой размах в этом медном гуле... подобно вихревому движению медных метательных колец*, пер. Д. Горбова), можно ощутить страну мою-твою-ничью, пространство, не имеющее рубежей, как не имеют рубежей сиротство и небо: *это трава, которая растет там, где есть земля и вода, это общий воздух, омывающий планету*. Там, за Патерсоном и Уэйном, в воздухе вырезан свободный стих.

Уитмен, выросший на Лонг-Айленде в виду океана, страстный пловец, работает в ритме волны, с нажимом ветра, толкающего волны к берегу, гудящего в полостях между волнами, в половину трубного звука:

Ты, прилив с постоянным нажимом! мощь, это – твои труды!
 Ты, незримая сила – вглубь и наружу – сквозь размах пространства,
 Согласие солнца, луны, земли и всех созвездий,
 Что за депеши сюда посылаешь от дальних звезд, от Сириуса
 и Капеллы?
 Каким узловым сердцем бьется и оживляется все? Неизмеримая
 совокупность всего,
 Тонкая косвенность, в чем твое назначенье? Какой в тебе ключ
 ко всякой разгадке? Что за подвижная, несметная подлинность
 Вселенную держит в единстве, со всеми частями ее, – словно
 корабль плывет?

Уитмен глотает гудящую влагу вселенной. Тексты, отдаленно напоминающие советские стихи о новой жизни (их услужливую выспренность, гримасу восторга), но здесь другое, это – не абстрактно-будущая, но – неизменная, реальная жизнь, которая окружает тебя и о которой ты не догадывался. Это не твое завтра, это твое – теперь и всегда. Все расщепляется и перемешивается, и отовсюду – из *Снов, Ночи, Смерти* – выпрядается ритм вечного *Рождения*. Рождается то, что Уитмен называет *rappoport* (*согласие, взаимосвязь*) между людьми/явлениями, их доверительные между собой отношения, земная демократия, устроенная наподобие гармонии небесной.

Тексты Уитмена – нарастание светового луча; поэт – прожектор, освещающий все на пути взгляда и мысли, от земляных недр до дальней звезды, отсюда – яркость его улиц, яблоневых садов, речных потоков. Все блещет, почти как атлеты Пиндара или любовь Ронсара. Уитмен высвечивает самое свечение, если так можно выразиться: взгляд, слух, ладонь поэта излучают свет под стать

объектам, к которым они направлены; даже лицо погибшего солдата мерцает в утренней сырости рядом с госпитальной палаткой, при этом Гражданской войне Уитмен отводит лишь мизерные крохи света, щепу пасмурных дней; воздух войны – тусклый, гибкий, над войной почти никогда не сияет солнце.

Между поэтом и читателем не остается посредников, кроме проясненного (проясняемого во время чтения) голоса-текста. Читателю не нужно просиживать штаны на университетской скамье, чтобы научиться понимать Уитмена, – достаточно раскрыть книгу или взять рюкзак и отправиться в путешествие. Поэт – соглядатай, заинтересованный свидетель своей и твоей жизни, и это его свойство напрямую связано с любопытствующим взглядом; что бы ни происходило вокруг, его увлекают все проявления бытия (жизни и даже смерти как продолжения-предтечи жизни: *самый ничтожный побег доказывает, что смерти нет*). Молодой Уитмен в одной своей статье 1842 года так описывает нью-йоркский пожар: на тротуаре мебель, которую удалось вынести из горящих домов; вопли оставшихся без крова, всхлипы детей, прильнувших к матерям, пожарная команда, гудящее пламя – *ужасное, но великолепное зрелище* (*a horrible yet magnificent sight*).

«Листьев травы» редактировались и пополнялись на протяжении почти всей его жизни. Самые ранние тексты, вошедшие в первое издание (1855), написаны Уитменом – репортером манхэттенских и бруклинских газет. Перед самым выходом первого издания репортерство перемежалось плотничеством, хотя больше всего Уитмен любил лежать на кровати или фланировать по Бродвею, этаким денди среди нью-йоркского *пленительный хаоса* (*fascinating chaos*), в элегантном сюртуке с цветком в петлице. В 1861 году начинается Гражданская война. В 1862-м, прочитав о ранении своего брата Джорджа в битве при Фредериксбурге (штат Виргиния), Уолт отправляется на его поиски. Брата он отыскивает в виргинском госпитале; ранение пустяковое, вскоре Джордж возвращается в строй. Уолт Уитмен остается в Вашингтоне, работает клерком, а остальное время проводит в виргинских госпиталях среди раненых солдат. Он носит им гостинцы (фрукты, печенья), делится деньгами, пишет письма родным под диктовку, читает книги:

22 июля '63 г. разговаривал с Уолтером Уилбером (54-й Нью-йоркский полк). Он попросил меня прочитать главу из «Нового Завета»... Читай любую, сказал он. Я открыл книгу на одном из евангелий, там описывались последние часы и распятие Христа. Прочитай еще одну главу, как он воскрес. Я прочитал. Слезы выступили на его глазах (из дневников Уитмена).

Голос как продолжение взгляда (*язык – двойник моего взгляда*). Взгляд на идеальную окрестность, она длится за горизонт и дальше, в глубины океана или к созвездию Водолея. Окрестность вещная: рыбацкий фонарь, светящий в ночи, мостовые Нью-Йорка, портовые грузчики, лазареты Гражданской войны. Все имеет свое назначение, четко прописанные свойства, но из собственной частности тянется к всеобщему. Поэт ищет не столько вещей в их совершенном единстве, сколько – единства во множестве вещей и явлений. Если ты – человек, воспетый Уитменом, ты – голос из хора, твои слова тонут в паводке общего пения. Для Уитмена Соединенные Штаты – это в первую очередь магическая связность отдельных частей страны (*Yearning for thee harmonious Union*), начиная с человека (опять же умозрительного) и заканчивая великими американскими реками, горами, долинами.

Уитмен ищет братства людей, но братство – не более чем абстракция, мираж, маячящий на горизонте еще не обжитого континента. Человек Уитмена – родной и навсегда далекий. Об идущем мимо можно сказать, что он твой современник (можно говорить об общих снах и кронах деревьев над головами, об общем всем), если ты уверен, что человек свернет за угол и *растворится в тонком воздухе*. Обращаясь ко всем, поэт разговаривает с пустотой, это – разновидность одиночества в толпе, не важно, толпа ли это людей или звезд. Отношения с реальными людьми складываются непросто. В 1863 году Уитмен, навещая госпитали, влюбляется в юного солдата, Томаса Сойера. Тот быстро идет на поправку. Перед отбытием Томаса в армию Уитмен покупает ему рубашку и нижнее белье; поэт просит юношу прийти к себе на квартиру, чтобы вручить ему подарки (*я бы тогда часто думал, что Томас носит на своем теле что-нибудь от меня*, пишет поэт в письме солдату), но Томас забывает явиться.

Одиночество, сквозящее в текстах Уитмена, не имеет ничего общего с позой романтизма, надсадным самолюбованием; это – раз и навсегда принятая, хоть и горчащая, судьба, резонирующая со страной, в которой и для которой проговаривает он свои тексты. В Америке человек – повторю слова Эмерсона – *стоит на голой земле, окунается головой в радостный воздух, поднимает голову в бесконечный космос; тогда исчезает подлое себялюбие, человек становится прозрачным глазным яблоком, становится ничем и видит все*. Прежний английский язык, привезенный из Британии, не способен выразить опыт первых поселенцев и их потомков; Уитмен вносит новые интонации в литературный английский, устанавливает свои правила стиховой речи (именно поэтому интонация Уитмена для переводчика порой важнее смыслов, вложенных в слова). *Надо разломать старое*, пишет Уильям Карлос Уильямс в эссе об

Уитмене, чтобы освободить место для себя, какой бы трагедией это ни обернулось.

Счастливое общежитие звуков и образов. Позднее стихотворение *As the Greek's Signal Flame* начинается с греческого сигнального огня издалека, из другой эпохи:

*As the Greek's signal flame, by antique records told
Rose from the hilltop, like applause and glory,
Welcoming in fame some special veteran, hero,
With rosy tinge reddening the land he'd served,
So I aloft from Mannahatta's ship fringed shore,
Lift high a kindled brand for thee, Old Poet.*

Текст начинается с вершины холма (*from the hill-top*), как аплодисменты и слава. Вслушивание сменяется всматриванием: ...приветая... ветерана, героя; розоватыми тонами окрашена земля, которой он служил. Поэт с Манхэттенского берега, окруженного кораблями (*Manhatta's ship-fringed shore*; сам остров похож на продолговатое древнегреческое судно), высоко поднимает горящий факел в честь Древнего Поэта (*So I... lift high a kindled brand for thee, Old Poet*). Голос Уитмена превращается в сигнальный огонь, начинает светить уже отсюда, в обратную сторону времени, покрывая дистанцию в двадцать шесть веков. Все можно легко объяснить, кроме одного: как стихотворение срастается в единое тело, из каких заыханий оно составлено, как наполняется весом, как зрелое яблоко, висящее на ветке (так – в другом стихотворении Уитмена).

Стихи Уитмена – о целостности человеческого опыта (мне-и-тебе-и-всем), связанного с видимым и мыслимым миром. Голос запущен как летучий змей, всегда из себя, почти никогда к себе. Уловляемость мира телом (и телом голоса), тело, его наличие – ключ к осмыслению места человека на земле. Тело (и тело голоса) кажется иногда величиной метафизической, вместе с тем оно – ощущимо-вещное, и неочевидно, чего в нем больше – метафизики или замлеченности. Душа, периодически упоминаемая поэтом, непохожа на свою сестру, сметанную по европейским лекалам, с обязательной внутренней напряженностью, надтреснутостью. Душа для Уитмена – субстанция не первой необходимости, поэтому *этой* душе, говорит Д.Г. Лоуренс, не требуется защита и тем более Спасение; она уже спасена. Главное – сняться с места, отправиться в путь и держаться широкой, распахнутой к небу дороги, не имея при этом никакой цели, кроме самой дороги и поднятой твоими шагами глинистой пыли.

Продление себя в мире, в предметах и явлениях. Созвучность между тобой и далью, и кто знает, где заканчиваешься ты и начи-

нается даль. Я чествую себя, я пою (воспеваю) себя. То, что я беру на веру, и ты возьмешь на веру, ведь каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и тебе. У поэта нет ничего, что он мог бы предложить миру, кроме своего голоса-ветра, кроме стихов, бьющихся, как волны, о каменистый берег: мой язык, каждый атом моей крови, составлен из этой почвы, из этого воздуха, рожден от родителей, также рожденных от родителей, я, которому нынче тридцать семь, в добром здравии, начинаю и надеюсь, что не прервусь до смерти.

Нью-Сити, 2018-2019

Уолт Уитмен

БРУКЛИНСКИЙ ПАРОМ 5

Тогда *что* это между нами?
Что значит счет многих сотен лет между нами?

Мало ли что, это все ни к чему, расстояние, место.
Я тоже здесь жил; холмящийся Бруклин принадлежал мне,
Я тоже ходил по улицам острова Манхэттен, купался в окрестных
водах,
Я тоже ощущал пробужденье внезапных, странных вопросов,
Днем, среди толп, иногда они настигали меня,
Поздно вечером, по дороге домой, или когда я лежал в постели,
они являлись ко мне,
Я тоже был отлучен от плавания в вечном растворе,
Я тоже воспринял себя через мое тело,
Я есть – это знанье далось через тело, и знанье того, чем я должен
был стать, – через тело мое.

НА МАРШЕ В КОЛОННЕ ИЗМОТАННОЙ

На марше в колонне измотанной, незнакомой дорогой,
Через густой лес, чуть слышные шаги в темноте,
После тяжелых потерь отступает угрюмый остаток армии,
Пока за полночь нам не забрезжат огни тусклого здания,
Выходим на поляну, останавливаемся возле тусклого здания,
Высокая старая церковь на скрещенье дорог, теперь – временный
госпиталь.

Вхожу, никакие картины, стихи не сравнятся с тем, что я на
мгновение вижу,
Тени глубочайшей черноты, лишь оплеснутой перестановками
свечей и ламп,
Возле массивного смоляного факела, неподвижного, с диким
красным пламенем и облаками дыма,
Возле скопища силуэтов (смутные, одни лежат на полу, другие –
на скамьях),
Под ногами различаю солдата, совсем юного, он ранен в живот,
истекает кровью,
Приостанавливаю кровотечение (его лицо белеет, как лилия).
Выбираясь из церкви, обвожу ее взглядом, впитываю все это,
Лица и позы в невыразимом множестве, большинство в сумраке,
некоторые мертвые,
Хирурги оперируют, ассистенты держат светильники, запах
эфира, крови,
Скопище, скопище окровавленных тел, двор тоже заполнен,
Одни лежат на голой земле, другие на досках, носилках; иные
потеют в предсмертной судороге,
Нечаянный вопль или всхлип; громкий приказ или оклик врача,
Тонкий стальной инструмент блестит, ловит свет факелов.
Теперь нараспев повторяю все это, снова вижу тела, чувствую
запах,
Слышу команду: «В строй, ребята, становитесь в строй», –
Но сперва склоняюсь над умирающим юношем; его глаза
открыты, полуулыбка обращена ко мне,
Вскоре глаза закрываются, закрываются тихо, я выбегаю во тьму,
И снова на марше, иду в темноте неизменной, в колонне,
Продолжаю шагать незнакомой дорогой.

БЕЗЗВУЧНЫЙ, ТЕРПЕЛИВЫЙ ПАУК

Беззвучный, терпеливый паук,
Я видел: он сидел обособленно, на небольшом выступе;
Я видел: он исследовал свободный простор окрестности,
Выпуская нить, из себя паутины нить,
Одну за другой разматывал без передышки, торопил неустанно.

И ты, Душа моя, там, где находишься ты,
Окружена, отмежевана, в неизмеримом океане пространства,
Отважна, раздумчива, то и дело стремишься на поиски сфер, чтоб
связать их;

Пока не получится мост искомый, пока не удержит податливый
якорь;
Пока – о Душа моя – паутинная нить, которую пустишь,
не зацепится где-нибудь.

ДНИ ЗИМОРОДКА

Ни одна лишь удачливая любовь, ни богатство,
Ни почтенный средний возраст, ни победы в политике, на войне,
Но, когда убывает жизнь и утихают бурные страсти,
Когда великолепный, дымчатый, тихий налет покрывает
вечернее небо –
Нежность, покой, избыток заливают простор – ароматней, свежее,
Дни вбирают помягчавший свет, и яблоко, наконец,
висит на дереве окончательно и безусловно, праздно-зрелое –
Тогда пусть изобилуют дни тишиной и счастьем,
Тревожные, благодатные дни зимородка!

СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА ГРАНТА

Один за другим выбывают большие актеры
Высокой драмы с бессрочных подмостков истории;
Неотчетливо, муторно действие войны и мира, прежних и новых
соперничеств
Сквозь ярость, страх, сумрак унылости, долгие сомнения;
Всё в прошлом – в несчетных могилах исчезают, смягчаются
Победитель и побежденный – Линкольн, Ли – теперь и ты
вместе с ними,
О человек великих дней – ты, равный дням!
Рожденный в прерии! Запутанна, разноречива роль,
И тяжела, но – сыграна блестяще!

Перевод с английского Григория Стариковского

Бэрон Уормсер

РОБЕРТ ФРОСТ И ДРАМА СТОЛКНОВЕНИЯ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Среди многочисленных невероятных потрясений, которые, очевидно, довелось испытать британским поселенцам, «осваивавшим» Новую Англию, было то, что они оказались в девственных местах, абсолютно новых для них. Это первое впечатление превратилось в уверенность в процессе связанных с завоеванием территории бесконечных стычек и набегов, которые вызывали, среди других чувств, страх, ужас и любопытство. Осознание того, что нашло отражение в самом наименовании региона – Англия, которая нова и, следовательно, совсем не прежняя Англия, – было источником драмы, получившей название «Америка». Это обозначило конфликт между тем, что должно было бы здесь находиться – добродетельные белые поселенцы, – и тем, что в действительности они здесь нашли, – «бездожные индейцы», волки, свирепые зимы, скунсы, ядовитые растения и прочие смертельные опасности. Неудивительно, что поселенцы дрожали от страха и трепетали перед своим Богом, даже принося ему хвалу за милосердие. Там, где они оказались, они очень нуждались в Божьем милосердии.

Поиски милосердия, которым, может, пронизан ландшафт, определяют широкий спектр американской поэзии в ее разнообразных формах: лирическая, декларативная, дидактическая, разговорная, провидческая, имажинистская, элегическая и повествовательная. Многие стихи пытались воспеть совершенное политическое устройство, справедливое демократическое общество, воспеть с поэтическим совершенством видение мира, воспринимающего поэтическое воображение как добродетель. Стремление к пониманию этого видения выделило поэтов столь различных, как По и Стивенс, Харт Крейн и Дональд Джастис (и художников – от Томаса Коула до Марка Ротко), и связано с американской верой в судьбу, будь то политическая или эстетическая, которая способна преодолеть любой конфликт. Мечта о естественной (хоть и Богом данной) цивильности (доброжелательности) – вот что стремится разделаться со всем, что подавляет и искажает простую человечность, с потоком противозаконности, и создать тот сложный социальный механизм, который, как с удовольствием отмечал Генри Джеймс, более древние, более установившиеся, практичные и мудрые общества воспринимают как должное. Общая мечта массы ищущих счастье индивидуумов – это мощный голос внутри нас,

перефразируя название антологии американской поэзии Хайдена Кэррата¹.

Драматическая нота не должна задавать тон подобным размышлениям. Нетрудно вовсе забыть об этой ноте. Принято думать, что история Америки – сплошная гармония: прогресс и религия, дружно идущие рука об руку, как предназначено общей судьбой. Поэзия, особенно лирическая, утверждает неотъемлемую ценность личности и является ее партнером в этом видении, даже если ей трудно быть услышанной в шуме повседневности.

Однако существует в Американской поэзии и определенно драматическое направление, посвященное тому, что невозможно преодолеть, что держит и не отпускает. Его главные представители – Эмили Дикinson и Роберт Фрост.

Хотя может показаться маловероятным представить себе этих двух людей в одной комнате, а тем более – беседующими, я думаю, они вполне поняли бы друг друга. Оба они выступали за прямолинейность в разрешении конфликта и против лжи, к которой так часто прибегают, чтобы этого разрешения достигнуть. Предпочитая драматический тон, оба они выбирали интонацию, наиболее правильную для описания того, с чем его или ее сталкивала жизнь, как бы загадочно или неоднозначно оно ни было. Оба они понимали, что драматизм как метод обязан своим существованием невозможности контролировать окружающих. Соответственно, оба избегали «приятности» (легкость у Уоллеса Стивенса, которую так не любил Фрост), предпочитая вместо этого эмоциональность встреч (иногда потраченную впустую), недопонимание и конфронтации. У обоих язык был острый, и они иногда с удовольствием подтрунивали. Как поэты драматические, оба не чурались сарказма. Хотя каждый старался замаскировать свои эмоции, создав себе определенную роль (призрак на верхнем этаже и сельский мудрец), оба несли свою страсть как пылающую алую букву.

Видимо, не было совпадением то, что оба выросли в Новой Англии. Драматическое вдохновение, которое они демонстрировали, было частью пуританского наследия непрерывного внутреннего самоанализа на фоне внешней связи с окружающим миром, который ежеминутно беседовал с непоседливой душой. Однако, вдохновение толкало их, поэтов-путников, в непредсказуемом направлении. Они отрицали теологию (если не самого Бога), предпочитая поэтический анализ, испытание (и освобождение), которые никогда не приводят к спасению. Они искали сильных эмоций в элементарном смысле этого слова, получая удовольствие от всего того, что усиливало ощущение полноты жизни. Они отрицали героя роман-

¹ Hayden Carruth “The Voice That Is Great Within Us”, 1983.

тической поэзии Вордсворт и ему подобных, поскольку он представлял окружающую действительность вполне дружественной. Будучи американцами и поселенцами в своей внутреннем диком ландшафте, они были более радикальны. Они шествовали в одиночестве, но им сопутствовала чуткая, не оставлявшая их совесть.

Несмотря на свой радикализм (а может, благодаря ему) Фрост постоянно искал точку опоры – тот стержень, на который крепится рычаг. Возможно, это перекликалось со способностью Эмили Dickinson уравновешивать фантазию обыденностью – Бог и домотканая холстина. Фрост был в полном смысле слова посредником, человеком посередине. Именно там он находил комфорт – как передатчик поэзии, которая и доступна, и волшебна, непрятязательна и запредельна, непринуждена, но все же нацелена, как заряженное оружие Dickinson.

Стихи Фроста берут свое начало из дискомфорта, удивительной сорной травы мироздания, – будь то небесное светило, или старик, или одинокие жены, или сурки, – это постоянно вписывается в рамки его индивидуальности. Он отказывается вырывать сорняки, даже когда он их опознает. Фрост предпочитает представить читателю ситуацию, которая может быть драмой протеста или равнодушия. Инакомыслящий, он тем не менее в своем стихотворении позволяет другому – будь то представитель человеческого рода, потустороннего мира или мира естественного – полностью себя проявить. Это представляется весьма галантным – Фрост как гостеприимный хозяин, – но непременно возникает вопрос, насколько искренне это взаимодействие. Поскольку у поэта все карты на руках, до какой степени он меняет текст, чтобы добиться желаемого эффекта? Фрост ничего не изображает; он предполагает, пробует, взвешивает. Стихи порой кажутся бесхитростными, но это обманчивое впечатление.

Вы можете сказать, и, смею утверждать, Фрост с вами согласился бы, что поэт всегда отрабатывает стихотворение. Это – одна из причин писать стихи. Когда читатели жалуются (это им вообще свойственно), что поэты слишком много пишут о смерти, я обычно отвечаю, что смерть – это то, что мы не можем контролировать. Мы склонны будировать то, на что не можем повлиять, или хотя бы сделать вид, что можем. Поэтому кладбищенская элегия, не говоря уже о стихотворении о смерти работника, представляются более чем оправданными.

Мой интерес далек от академического. Будучи писателем, приходится часто принимать решение, насколько открыто можно описать чье-то присутствие – будь то человек или что-то еще. Такова природа этого ремесла. Меня беспокоит, насколько я использую существование других в моих собственных интересах, сколько

свободы я им даю. Не перевешивает ли моя творческая задача мое ощущение, что жизнь дарована как мне, так и другим существам, каждое из которых уникально и управлять которыми невозможно? Меня волнует, не вторгается ли данное стихотворение в драматизм реального события, – или это заданный сценарий, в который поэт добавляет свое отношение к ситуации и обстоятельствам, превращенным в стихотворение. Меня интересует не склонность к риску, которая так расхваливается на задней обложке многих поэтических сборников, а пристрастие к упрямой честности по отношению к окружающим, как бы несговорчивы они ни были. Мы говорим не о сенсациях или запрещенных темах. Речь идет о том, в какой степени стихотворение – это место, где поэт имеет дело с чем-то, что не является его алчным воображением. Важно то, насколько поэт готов сохранить верность беспокойному миру драмы.

Начать следует со стихотворения «Починка стены» ("Mending Wall"), поскольку оно меняет понятие столкновения с действительностью и, как таковое, является центральным для творчества Фроста:

*Есть нечто, что не любит стен в природе:
 Оно под ними в стужу пучит землю
 Крошил на солнце верхний ряд камней
 И пробивает в них такие бреши,
 Что и вдвоем бок о бок там пройдешь.
 Охотники – не так! Я их проломы
 Заделывал не раз: на камне камня
 Они не оставляют, чтобы выгнать
 А эти кто пробил? Ни сном ни духом...
 Но каждою весной они зияют!
 Соседа я зову из-за холма.
 Выходим на межу и начинаем
 Меж нами стену возводить опять.
 Мы вдоль стены идем, блюдя межу,
 И поднимаем камни, что упали.
 А камни – то лепешки, то шары,
 Такие, что лежат на честном слове:
 «Лежи, покуда я не отвернусь!» –
 Их заклинаю, ободрав ладони.
 Ну вроде как игра «один в один».
 Доходим мы до места, где как будто
 Стены вообще не нужно никакой:
 Он – весь сосна, а я – фруктовый сад.
 «Ведь яблони есть шишки не полезут!» –
 Я говорю, а он мне отвечает:*

«Сосед хороши, когда забор хороши».
 Весна меня толкает заронить
 В его сознанье зернышко сомненья.
 «Зачем забор? Быть может, от коров?
 Но здесь же нет коров! Не лучше ль прежде,
 Чем стену городить, уразуметь –
 Что горожу, кому и от кого?
 Какие причиняю неудобства?
 Ведь нечто же не любит стен в природе
 И рушит их...» Ему б сказать я мог,
 Что это эльфы... Нет, совсем не эльфы!
 Пусть поразмыслит... Он же две булыги
 В руках сжимает, словно бы оружье –
 Ни дать ни взять пещерный человек!
 И чудится, что он идет во тьме –
 Не то чтобы он шел в тени деревьев...
 Не сомневаясь в мудрости отцов
 И стоя на своем, он повторяет:
 «Сосед хороши, когда забор хороши».

(Перевод С. Степанова)

Когда я читаю стихотворение, я задаюсь вопросом: какие сюрпризы оно преподносит? В стихотворении «Починка стены» их два, и они существенны для представления Фроста о том, что же такое стычка с реальностью. Первый – насколько ничего нельзя сказать о соседе Роберта, при том что это шутник, полностью противоположный героям Вордсвортса, ловкач, с которым Роберту приходится иметь дело. В этом отношении герой-повествователь Фроста становится в один ряд с другими известными поэтическими персонами, такими как у Эмили Дикinson, Джоном Берриманом (в «Песни мечты») и Энн Секстон в похожих на сказку стихах. Рассказчик сам может не быть шутником, но ему хорошо известно, что это такое. Он сам хочет подшутить над своим соседом, пытаясь изменить привычный ход его мыслей. Он даже вкладывает в его уста странное, старомодное, антипротестантское слово «эльфы». Но сосед не понимает этой шутки.

Фрост пишет об этом красиво: «И чудится, что он идет во тьме / Не то чтобы он шел в тени деревьев». Пояснение «чудится» очень важно. Фрост не просто заполняет строку. Он обращает внимание на ограниченную способность повествователя делать различия, при том даже, что сам он превозносит эту его способность. Склонность проверять правдивость повествователя делает честь Фросту. Повествующий – обычный человек, а каждому человеку свойствен-

на некоторая необъективность. Фрост не просит простить эту необъективность, – поэты не извиняются, – но он ее признает. Рассказать историю не является для него самоцелью. Он старается понять, насколько примитивными и самодовольными способны быть люди. Он не дает названия этому неприятному явлению; вместо этого он использует мрачное описание окружающего мира – леса и деревьев. И ощущение мрака только усиливается от того, что ему нет названия.

Возможно, он догадывался, что темноте нельзя дать название, потому что она бездонна. «Починка стены» обычно воспринимается как умиротворенная мудрость, но не следует забывать, что Фрост работал над этим стихотворением в Англии в то время, когда разворачивалась Первая мировая война, начавшая пожирать сотни тысяч жизней (включая друга Фроста, поэта Эдварда Томаса). Это произведение – пример того, как Фрост позволяет стихотворению раскрыться в полной мере. Он правдиво описывает своего соседа. Он представляет себя отличающимся от соседа, однако не приписывает себе морального превосходства. Важна здесь не позиция рассказчика, – хороший Роберт, плохой сосед, – а сам этот случай. При этой встрече почти ничего не происходит; два человека ведут разговор у стены – так поверхностный читатель мог бы воспринять это стихотворение. Однако, как и самое первое произведение Фроста «К северу от Бостона», «Починка стены» показывает, что поэт имеет самое четкое представление о том, каким должен быть стих. Это – не лирика (как, например, у Йейтса) и не гимн природе. Согласно Фросту, стихотворение воплощает место, где люди встречаются и в результате встречи разрешают какие-то конфликты. Встреча может быть мимолетной, но тем не менее она приводит к какому-то результату.

Фрост очень любил описывать столкновения – как человеческие, так и природные. Он вечно был в движении, отправлялся на долгие прогулки, увлекался ботаникой, а главное, постоянно был в поиске. В его стихах снова и снова описываются неожиданные встречи, которые заставляют героя задуматься. Фрост – американец до глубины души, есть в нем какое-то свободолюбие, и это сказывается, даже когда он в одиночестве в чаще леса и вокруг никого нет. Как будто он постоянно видит, как по-разному можно жить, и ему как американцу интересно взвесить все варианты. Для него поэзия – это размышления и оценка ситуации, а не просто рассказ и описание.

Другое стихотворение, «Дрова» (“The Wood-Pile”) – хороший пример поэтической позиции Фроста.

В ненастный день, бродя по мерзлой топи,
Я вдруг подумал: «Не пора ль домой?
Нет, я пройдусь еще, а там посмотрим».
Был крепок наст, и только кое-где
Нога проваливалась. А в глазах
Рябило от деревьев тонких, стройных
И столь похожих, что по ним никак
Не назовешь и не приметишь место,
Чтобы сказать: ну, я наверняка
Стою вот здесь, но уж никак не там.
Я просто знал, что был вдали от дома.
Передо мною вспархивала птичка,
Опасливо все время оставляя
Меж нами дерево, а то и два.
Она мне голоса не подавала,
Но было ясно: глупой показалось,
Что будто бы я гнался за первом –
Тем, белым, из ее хвоста. Она
Все принимала на свой счет, хотя
Порхни в сторонку – и конец обману.
И там были дрова, из-за которых
Я позабыл ее, позволив страхам
Угнать ее подальше от меня,
И даже не сказал ей до свиданья.
И вот она мелькнула за дровами –
И нет ее. Лежал рядами клен,
Нарубленный, расколотый и ровный –
Четыре на четыре и на восемь.
И большие ни поленницы вокруг.
И не вились следы саней по снегу.
Рубили здесь не в нынешнем году.
Да и не в прошлом и не в позапрошлом.
Пожухла древесина, и кора
Растрескалась, скрутилась и отстала
Осела кладка. Цепкий ломонос
Уже схватил поленья, как вязанку.
И слева их держало деревцо.
А справа кол и ветхая подпорка,
Готовые упасть. И я подумал,
Что только тот, кто вечно видит в жизни
Все новые и новые задачи,
Мог так забыть свой труд, труд топора,

*И бросить здесь, от очага вдали,
Дрова, чуть согревающие топь
Бездымным догоранием распада.*

(Перевод А. Сергеева)

Рассказчик прогуливается и замечает то одно, то другое. Прогулка эта – без определенной цели. Ему интересно все. Он получает удовольствие от неожиданных встреч, потому что он постоянно узнает что-то новое для себя и потому что это как-то влияет на уклад его собственной жизни. Очень важно понять, как поэт всегда узнает что-то новое из всего, с чем ему приходится встречаться.

Мой преподаватель в колледже постоянно жаловался, что Фрост морализирует. Мне кажется, что подобная критика неправомочна, так как все, что поэт говорит, вписывается в сложный контекст стихотворения.

Большая часть стихотворения «Дрова» посвящена наблюдению за птичкой. Это не слишком драматическая тема, но это типично для Фроста – он развлекается. Подобно Дикinson, ему нравится сделать предположение, а потом посмотреть, верна ли была его догадка. Его всегда интересует вопрос – как люди и явления соотносятся друг с другом? Он не читает морали и никогда не становится на чью-то одну сторону; он способен понять обе стороны.

Как уже упоминалось, для него поведать историю – не самоцель. Его увлекает текстура окружающего мира, то, что он замечает на своем пути. И эта приметчивость – его особый дар.

Без сомнения, мудрый Фрост спокойно улыбнулся бы, заметив нетерпеливость читателя, потому что первая часть стихотворения (до того, как он увидел дрова) является существенной. Именно здесь поэт имитирует соприкосновение мира людей с миром животных. Как это ему свойственно, Фрост иронизирует: «Она мне голоса не подавала, / Но было ясно: глупой показалось, / Что будто бы я гнался за пером». Интересно, что, увидев дрова, поэт сразу забывает про птичку. Человеку свойственно забывать, но как часто это отражается в поэзии, где мы всегда испоняем долг, всегда на посту?

Размышления Фроста по поводу увиденной им заброшенной поленница дров типичны для него, поскольку касаются деяния человека. Все, что человек решает сделать или не делать, имеет свои последствия – даже то, что он оставляет недоделанным. Трудность состоит в том, чтобы сформулировать, что это за последствия. Я думаю, что именно позиция наблюдателя, которую поэт охотно занимает, позволяет ему сделать такое мощное заключение: «Дрова, чуть согревающие топь / Бездымным догоранием распада». Окружающий мир всегда что-то говорит – это известно всем

поэтам. Отличие Фроста в том, что ему удается услышать больше, чем другим, и это отражено в каждом его произведении. Он ощущает присутствие времени в окружающем мире. Можно утверждать, что Фрост глубоко осознавал несоответствие цели человека и того, как эта цель осуществляется в перегруженном контексте времени.

Одна из сильных сторон творчества Фроста – его стремление вступать в неожиданные контакты с окружающей действительностью. Хотя он жил в сельской местности и никогда не был поэтом города, он знал, что каждый момент может принести случайную встречу – или с человеком, или с природой. Его главный талант состоял в том, что он охотно позволял таким встречам оказывать на него некое влияние, а также описывал в своих стихах, в чем оно состояло. Центральный вопрос литературы – «Что значит быть человеком?» – занимал и преследовал Фроста. На этот вопрос ответа нет, и его не интересовало некое прозрение как самоцель. Если прозрение и произойдет, то только в результате наблюдения за окружающей действительностью, когда неожиданные контакты порождают видения, отражаемые магическим поэтическим языком.

Извечный вопрос, с которым сталкиваются поэты: насколько можно себе позволить говорить от имени того, кого не знаешь, как себя самого?

Возможно, на этот вопрос ответа не существует, но подумать об этом стоит. На самом деле, это дело совести поэта. Слишком легко поддаться искушению излагать в стихах свое собственное мнение. Однако, когда это происходит, читатель чувствует (по крайней мере, я чувствую), что стихотворение испорчено, потому что автор исказил впечатление случайной встречи своей собственной предубежденностью. Обычно это определяется тем, кто имеет последнее слово, а поскольку в каждой встрече участвуют две стороны, это имеет критическое значение.

Я говорю «совесть» не только потому, что это определяет справедливость (что, по моему мнению, важно), но еще и потому, что, согласно утверждению Хайдена Кэррата, поэзия обязательно связана со справедливостью. Я говорю о совести, потому что поэт все не обязан в своих стихах выходить за рамки собственного эго. Злосчастный термин «самовыражение» ясно демонстрирует, с какой готовностью эго декларирует себя самого и называет это поэзией. Мне думается, что стихотворение основывается на контакте с действительностью, который влияет на поэта. Поэт может даже до некоторой степени поступиться своим эго и позволить высказаться тому, с чем ему привелось встретиться. Что это будет за высказывание, предсказать невозможно, но не в этом ли и есть смысл стихотворения?

Последнее стихотворение Фроста, на которое я хотел бы обратить внимание, называется «Нечто там есть» (“For Once, Then, Something”):

*Пусть смеются, когда, встав на колени,
Я заглядываю в колодцы, хоть, обманутый светом,
Никогда ничего не вижу глубже воды,
Кроме собственного отраженья, – этакий бог
В летнем небе, увенчанный папоротником и облаками.
Но однажды, вытянув над колодцем занемевшую шею,
Я заметил, или мне лишь помстилось, нечто за отраженьем,
Белое нечто сквозь него смутно мелькнуло,
Из глубины нечто, лишь на миг – и исчезло.
Чистой слишком воде вода попеняла.
Капля упала с папоротника, стерла рябью,
Чем бы там оно ни было, то, что на дне,
Смыла, смела... Что ж там все же белело?
Истина? Камешек? Нечто там есть, раз уж было.*

(Перевод С. Степанова)

Печальная истина о месте поэзии в активном индустриальном обществе заключается в том, что она – нечто вроде бездельника, которому нравится просто бродить и наблюдать. Это определение дал Уитмен, а Фрост, в сущности, воплотил в жизнь. Например, в данном стихотворении описывается занятие, естественное для ребенка – летним днем просто смотреть в колодец. Однако то, что он там видит – богоподобно. Как это свойственно Фросту – превращать божественное в шутку и стремиться к чему-то большему.

Если читать Фроста внимательно, замечаешь, как часто он приводит стихотворение к подобной кульминации. Он упрощает ситуацию, чтобы читатель успокоился, а потом делает резкий выпад, который, хотя и длится недолго, все же ощутим. Впрочем, если бы он был долгим, мир стал бы другим. Подобные нападки не приносили Фросту удовольствия, он никогда не отличался агрессивностью. Может быть, осознавая, какой тяжелой может быть жизнь, он ценил моменты, требующие особого внимания. Если стихотворение не отражает настойчивое внимание к окружающему, оно мало чего стоит.

Встреча с действительностью в этом стихотворении – это не более чем шепот, отблеск, осколок – «нечто», как пишет Фрост в последней строке. Никто еще не написал книгу под названием «Мистический Фрост», но данное стихотворение, как и все остальные, демонстрирует широту натуры Фроста, свободу, ко-

торой он дорожил. Удовольствие, которое он получал от случайных встреч, было очевидным. Не думаю, что он хоть на секунду захотел бы это изменить.

Перевод с английского Елены Ариан

Ирина Машинская

МУРАВЕЙ НА РЕЛЬСАХ

Об особенностях творческого метода Олега Вулфа

Прошло почти восемь лет со дня гибели Олега Вулфа, но до сих пор не появилось, насколько мне известно, ни одной аналитической статьи о сделанном им в литературе. Этот текст – попытка приступить к этой задаче, начав с двух кажущихся мне особенно важными аспектов его работ: многократно повторяющегося мотива – пересекающихся параллельных, и главного авторского метода – *стяжения*. Разумеется, мне трудно писать о книгах Вулфа, и не только потому, что я была свидетелем создания некоторых из них, но и потому, что все они – ранние и поздние – давно стали частью моего читательского опыта. Мне нелегко заставить себя этот опыт забыть, совсем отказаться от него и представить себе, что я впервые раскрываю эти книги, но я все же попробую, причем буду говорить о стихах и поэтической прозе одновременно – слишком они связаны и слишком един воплощенный в них и воплотивший их мир. Но это не рецензия и не описание: я буду ссылаться на основные тексты, предполагая, что читатель хотя бы отчасти знаком с некоторыми из них.

Тема поездов прошивает все написанное Вулфом – с юности до окончательных 56 – и объединяет центральные идеи его книг: множественность трансформаций человека и обстоятельств, на-громождение времени и его выработка, переселенчество, рельсы, свет-сумерки-темнота, биение и не-биение и, наконец, вот эта настойчиво повторяющаяся мысль-образ о параллельных рельсах-прямых, пересекающихся не в бесконечности, а вот здесь и теперь, с муравьем, помещенным в точке пересечения – как это и происходит в ставшем самым важным для него стихотворении «Дождь», переплавлявшемся несколько лет и завершенном за несколько недель до гибели.

С раннего детства в местечке Бельцы в советской Бессарабии, в городке, где было два вокзала – Северный и Западный, Вулф заворожен железной дорогой, этой самостоятельной вселенной, сумеречным, как будто навсегда послевоенным советским ландшафтом, и вообще любыми, то и дело опровергающими параллельность *рельсами*: трансформациями и переселениями. Время в его текстах основано не на движении, но на ритме стыков, свистков, рывков. Это особенно проявилось в «Бессарабских марках»: несмотря на накопление событий, время стоит в них, как поезд на запасных путях.

В этом отношении интересен эпизод из жизни автора – лишь немногого преображеный, он вошел в «марку» «Ильяна и Михай». Однажды, обидевшись на мать, мальчик побежал на один из двух вокзалов, забрался в вагон отходящего товарняка и заснул. А когда проснулся, обнаружил, что он все еще в Бельцах – вагон, пока он спал, отцепили. Сюжет, конечно, не уникальный, и было бы интереснее, если бы он обнаружил себя на Другом вокзале – и вот такие перемещения и метаморфозы и явили себя в «Бессарабских марках».

В finale «Марок» герои – никогда у Вулфа не прообразы, а неизменно проекции памяти, причем часто одной и той же точки ее, одного и того же сгустившегося опыта – уходят в заброшенную штольню, «нулевой ход», и один за одним исчезают в глине достворения. Вот почему в этой книге столько звезд (это сразу поражает и на иллюстрациях Сергея Самсонова) – персонажи так же подвержены переработке (*recycling*), перерождению, как и звездное вещество.

В последний год своей жизни Вулф увлекся топологией, что не удивительно, ибо ее идеи и положения – деформации, протяженность, конвергенция, многомерность – оказалисьозвучны и стихотворениям его, и переводимым весной 2011 года на английский язык (то есть заново осмысливаемым и редактировавшимся автором) «Маркам». Важно и то, что в это же время Вулф увлекся появившейся у него тремя годами раньше, но только тогда по-настоящему и заново прочитанной популярной книгой физика Лизы Рэндалл об искривленных ходах вселенной¹. Персонажи «Марок» следуют траекториям элементарных частиц, исчезая в одном измерении и появляясь в другом. Для автора «нулевой ход» означал вход лишь в один из таких тоннелей – оттого и отрадное отсутствие заглавных в этом названии, вообще свойственное Вулфу.

И в стихах, и в поэтической прозе его действие – со-бытие – переходит из бытия в небытие и назад, как переходят из вагона в вагон движущегося для стороннего наблюдателя поезда, и никакой финал не конечен. Рельсы пересекаются в точке смерти – и продолжаются дальше. Муравей переходит на другую траекторию. Множественность рождений и мгновенных перемещений, проживание и прохождение искривленных ходов – прямых в одном измерении, кривых в другом – относится не только к персонажам, но и к самому автору. Она не заявлена открыто, но подразумевается – эта ткань слишком тонка, и Вулф был бы не Вулф, а другой писатель, если бы такие вещи вдалбливались им напрямую. Подспудный, может

¹ Lisa Randall. Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions. New York: Harper Perennial, 2006.

быть, и неосознанный метод его состоит в обращении к внимательному читателю, не могущему не заметить, как трансформируются и заново рождаются в каждой следующей главке не просто жизнь персонажей и ее обстоятельства, но само вещество речи. Тексты Вулфа напоминают метаморфически преображенную порфировую породу, даже и по перерождении своем включающую не изменившиеся – вообще неизменные – осколки прежних минералов и куски пород. Ничто не исчезает и не пропадает, все идет в дело – и энергия стихов, и их вещество. Это особенно касается стихотворений, вошедших в сборник «Весной мы увидим Соснова».

На другой особенности, относящейся в первую очередь именно к поэзии Вулфа, следует остановиться подробнее. Этот метод, непосредственно связанный с идеей пересекающихся прямых и их несвободой, мы назовем *стяжением*. Любой неспешный читатель сразу заметит, как в одной строфе или даже в одном стихе происходят бесконечные перемещения, кувырки и стягивания двух, а то и трех равно узнаваемых образов и сочетаний. Например: «Ты иди ложись... / честно тяни резину от / одного до сна». В двух строчках – целых два стяжения: «честно тянуть лямку (и то: кто как не паровоз, поезд) – и «тянуть резину» – оттяжки и проволочки ночной бессонницы: считать от одного до ста – и считать «до сна», пока счет не прервется засыпанием. Все это стянуто в две строки, из которых одна – короткая, причем ни один из двух стянутых смыслов не доминирует. Или: «Снег по швам» – то есть или вертикально падающий снег «стоит» руки по швам, или трещит – разъезжается по швам проталин. Пешеход в снегу стоит поэтому, как одинокий солдат на плацу – «как перст» – руки по швам. В глазах бело от снега, и в снегу свербит пятно: *одно, один*.

Есть поэты гласных, и есть поэты согласных. Олег Вулф – поэт согласных, железнодорожных согласных «б» и «д», и еще «п», и «с», и «т». «*Есть такая косточка: пусто-пусто...*» В своем эссе «О словах» он пишет о принесении слова в жертву навязанному смыслу и жизни как сопротивлении этой силе. Его стихи – это и есть протест принесению языка в жертву свяям, проводам, рельсам «смысла». Такое вчувствование в язык и есть сочувствие – со-чувствие – языку и, следовательно, тому теплому, неосмысленному, живому, что за ним стоит и за него держится.

Вот обложка книги «Снег в Унгенах», превращенной позднее автором в сборник «Весной мы увидим Соснова»: семья, сметенная сквозным, грубым, линейным порывом, советской историей. Принесенная в жертву этому порыву. Круги и кольца вихрей, циклов, лет – и отчего-то не кажущийся чрезмерным нимб над головой беспомощно раскинувшего руки отца семейства: не для объятья, а в попытке – защитить? В попытке удержаться на ногах? В универ-

сальном жесте «сдаюсь»? Небо в жирных бороздах заката, земля в рельсах – исполосованный, иссеченный линиями, уязвимый мир, где нас «добивали из трехлинеек», где «на переходе в ад фонарь горел». «Звездное решето», в которое сливается человеческий остаток; луна – застрявший в решете грубый солдатский жетон (зябкнувший жестью униформы и той самой несвободы).

И вот человек выходит из переделки, по-российски утопив завершенный цикл в вине. Пытается свести бессмысленное в подобие смысла. На рисунках Сергея Самсонова, тоже безвременно ушедшего ровесника Вулфа, проиллюстрировавшего все его книги, – маленький человек на дне переулка, как на дне стакана. «П», «т», «с», «т»... Стяжения. Стенанья века. «Есть такая косточка: пусто-пусто». К концу века пустота – не просто пустота: она заполнена до отказа вещами и осколками вещей. Многочисленные предметы в стихах Вулфа гремят, стучат, звенят – и громоздятся, как на полотнах кубофутуристов, не оставляя просветов. Но все-таки есть в нас что-то, есть это сопротивление материала, есть предел жертве: пусть раздробленный с хрустом, пусть до предела перемолотый, мир и под прессом истории не сливается в одно. Он поворачивается к читателю то одной, то другой тусклой мерцающей гранью: то вокзальной кружкой, то баком.

В американских стихах Вулфа звук и освещение меняются. А ведь это тот же авторский темперамент, то же зрение – а звучание совсем другое, как ни настаивает автор, что «хрипло в городе»: «Джаз на Лексингтон, снежный жжazz»... «Басовая си бордо в достижены иссиней до. / Снег мечетей, храмов и синагог»... Легко услышать разницу: тут и «г», и «ж», и «з», и легкие дуги «л» – длинная, длинная авеню в восточном Манхэттене. Музыка. Зимний, грязный, теплый Гудзон. Радость языка, ловящего на лету снежные семена.

И все же в стихах Вулфа больше проявлен другой пейзаж, тусклые краски другой среды. «Поезд в глухую среду»... В среду – сердцевину, глухомань недели, в невидимое, гудящее, глухое ядро времени; и эта среда – повсюду, она одна и есть на свете, и человек один, сколько бы имён он ни имел – и *Николай Нидворяша*, и почти поименованный *мужчина видный, мужчиновидный, и человек бурятский*, он же человек *каракалпакский* (он же *мужской пассажир*) – этот человек, по сути, аноним. Одиночество, которого в стихах Вулфа хлебай – не выхлебаешь, есть не изысканное «одиночество поэта в толпе», а одиночество человеческого месива, *стянутого, сплавленного* в одно удивленное существо между землей, похожей на пустые небеса, – и небом, похожим на натруженную, изуродованную землю: на востоке «жарят и жгут резину», а на западе «жирная неба пашется борзда».

Этот пейзаж не существует сам по себе – не потому, что Вулф его выдумал, а потому, что он, пейзаж, не существовал до языка, его изломов, поворотов и оборотов речи (и оборота речи на самое себя). Поэзия его гремит присловьями, да и вся она, как единое присловье, гремит о славе и бесславии бессонной, паровозной, очень российской яви. «Ты не знаешь, как губы грохочут, губы...»

То, что читатель назовет народом, звучит тут не как греческий хор, но как соло: одинокий голос человека по имени Мы. «Мы жили до войны». Время неподвижно идет назад, идет в Освенцим, и хор звучит как одна страдающая душа. «И тогда на барабан предметий / из туннеля накручивался поезд, / и впельмах живые / пели смутным хором. Как баржу в иле, / стронув речь наутро, пока не спелись». После Освенцима нет ничего потому, что тлеющий Освенцим – всегда, как закат, не перегорающий в рассвет.

Перед нами – миф, замкнутый мир, где длина истории – один миг, включая прошлое и будущее, и «день растянут, как дым в со- суде». Прошлое – это когда «шло на убыль», настоящее – теперь, когда «идет на спад». «Вагоновожатые временца». В этом мире если и есть подобие часового механизма, то это рывки *передергивающе- гося* железнодорожного состава, его рычаги и колена. И если есть ритм – это гудки поездов. Мир Вулфа герметически запаян, как стеклянная сфера – из тех, что продают на углу под Рождество. Так запаянно, прозрачно и невскрываемо любое настоящее стихотворение. Напластование, слипание картинок в одну плоскость: стянутые скрепами странного вулфовского синтаксиса образы оказываются неслучайными соседями и сводятся в одну тускло мерцающую голограмму неизмененного *настоящего*, уходящего в глубь перспективы.

Связующая этот миф нота – голос поэта, которого будто нет – уже нет. Как будто это настоящее – уже есть воспоминание не вернувшегося Одиссея. Основное действие в стихах Вулфа – вычитание. «Отними от нечетного четное, все равно в итоге нечетное». Но все-таки самое завораживающее в этом мифе – это горестно-прекрасный человеческий ландшафт, поровну поделенный на небо и землю. Полустанок. Еще полустанок. Полстакана неба и полстакана земли (и воды). Переселение. Переселенцы. И все это под открытым небом, и небо – не фон и даже не задник сцены, но просто уходящий вдаль пейзаж, тоже прошитый железным путем. Где начинается с *дореми* (романтическое «до Рени»), а выходит *мифасоль*, в котором и Мефистофель, и тот страшный фонарь, и все железнодорожное, российское, товарное – мешки и платформы: уголь, щебень, фасоль.

Пустоты – нет. Читая стихи и прозу Вулфа, привыкаешь к тому, что даже воздух – «ржавый почтовый ящик», и воспринимаешь это без удивления, как единственную реальность. Пошедший за авто-

ром читатель проникается убеждением, что на самом деле реален только этот миф, эта голограмма: попробуй выйти из него – и найдешь «то плаху, то пепелище». В лучшем случае ты просто переходишь из вагона в вагон – от небытия к бытию и назад. Буфера безударных слогов сжимаются ударными – грубыми товарными платформами, пульсирует неровный дольник, человек живет на стыках между согласными и согласными, между явью и явью, на переходе в ад горит фонарь.

Когда-то другим поэтом было сказано об этом как о «единственной примете»:

*И в этом колыбельном свете,
У мирозданья на краю,
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.*

И дальше – неостановимо – «есть в рельсах железнодорожных...»

У Вулфа тоже российский железнодорожный колыбельный свет, только зеленовато-сизо-серебристый, и происходит он не от фонаря путевого обходчика, как в стихотворении Тарковского, и уж точно не от вечно отсутствующего солнца – а от самой земли, мерцающей лужами, цепями, вокзалами, баками, стрелками и мокрой глиной. Звезды – щебень (и наверняка привокзальный), а дальше рассвет: щебень превращается в щебет.

2007–2019

ПЕРЕВОДЫ



Ричард Бромиган

ЖЕНИТЬСЯ НА ЭМИЛИ ДИКИНСОН

В АНГЛИЮ

Нет таких марок, по которым письма
могли бы быть доставлены в Англию
трехсотлетней давности,
и нет таких марок, по которым письма
смогли бы возвратиться до того,
как выкопана могила;
и Джон Донн видит, стоя у окна,
как начинает накрапывать дождик
в это апрельское утро;
и птицы падают на деревья,
как шахматные фигуры
несыгранной партии;
и Джон Донн видит почтальона,
ступающего очень осторожно
вдоль улицы, опираясь на трость
из хрупкого стекла.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

О, юная дева,
ты заключила себя в чужое тело.
Двадцать лишних фунтов,
как тяжелые складки гобелена
на твоем совершенном теле
млекопитающей.

Три месяца тому назад ты была, как лань,
глазеющая на первый зимний снежок.

А теперь Афродита задирает свой нос
и сплетничает за твоей спиной.

ДА, МУЗЫКА ГЛУБИН

Ветер цвета форели
пронизывает мои глаза,
сквозит меж пальцев,
и я вспоминаю,
как форель, бывало,
пряталась от динозавров,
когда они приходили к реке
на водопой.

Форель укрывалась
в замках, авто и сабвеях
и терпеливо ждала,
пока динозавры напьются
и уйдут прочь.

ПСАЛОМ

Фермеру
из Восточного Орегона
явился Иисус
в курятнике.
В руках держал
корзину яиц.
«Я голоден», –
сказал Иисус.

Фермер
никогда
никому
ничего
не рассказывал.

ТЫ СВОБОДЕН ЖЕНИТЬСЯ НА ЭМИЛИ ДИКИНСОН

Вчерашний развод с моей женой в Бразилии
и лопнувшая шина на мокром шоссе
стали концом моей легкомысленной юности,
дав мне свободу жениться на Эмили Дикинсон.

О, какой проникновенной будет наша любовь,
наши нежные ладони, словно могильные плиты,
наше свадебное шествие, словно похоронная процессия.

Перевод с английского Семена Беньяминова

Илья Каминский

В НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ДЕНЕЖНОЙ СТРАНЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Илья Камински – американский поэт, профессор английской литературы в университете Сан-Диего. Родился в Одессе в 1977 году, потерял слух в возрасте четырех лет. В США живет с 1993 года и пишет исключительно по-английски. Его книга «Танцы в Одессе» (2004) была признана в США поэтической книгой года по версии авторитетного журнала «Форвард». Был также лауреатом премий Уайтинг и Пушкин. Книга «Музыка народов ветра» выходила в переводе на русский язык в Нью-Йорке в 2012 году. Представленные здесь стихи взяты из недавно вышедшей книги «Республика глухих» (2019).

МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Когда они бомбили чужие дома, мы
протестовали
не слишком громко, мы возражали, но не
не слишком сильно. Я был
в постели, вокруг моей кровати Америка
осыпалась: все невидимые дома, один за другим.
Я сел на стул и стал наблюдать за солнцем.
На шестой месяц
катастрофического правления в доме денег,
на улице денег, в городе денег, в стране денег,
в нашей великой денежной стране, мы (простите нас!)
жили счастливо во время войны.

ИЗ «РЕСПУБЛИКИ ГЛУХИХ», 3

Не забывайте: люди, живущие в нынешние времена, помнят цену каждой бутылки водки. Солнечный свет над каналом позади вокзала. По одолженной у соседа лестнице мой брат Тони «Москит» и я поднимаемся к кроне тополя в городском парке с полутора бутылками водки – и пьем там всю ночь. Солнечный свет на лице девушки, спящей на паперти. Тони читает стихи, забывая, что я ничего не слышу. Я ловлю отблески солнечного света в зеркалах заднего вида проезжающих мимо троллейбусов.

Не забывайте: на ветке тополя сидели два брата, парикмахер и ортопед, влюбленные в одну и ту же женщину. Они там пили и читали все стихи, что могли вспомнить. Никто ничего не заметил. Ни одна душа.

ИЗ «РЕСПУБЛИКИ ГЛУХИХ», 4

«Надо говорить не только о большой разрухе, но и о женщинах, целующихся в желтой траве!»

Я слышал это не от великого философа, а от моего брата Тони,

который мог постричь четверых за полчаса, с закрытыми глазами, декламируя при этом Государственный гимн перед зеркалом.

«Тебе надо пить огуречную водку и петь голышом всю ночь. Объединить женщин и молодых людей Земли!»

Он играл на фальшивой гармони в стране, где единственным музыкальным инструментом была дверь.

«Надо говорить не только о большой разрухе», – так сказал мой брат, который не мог ни писать, ни читать

и проводил дни под покровом чужих волос.

ИЗ «РЕСПУБЛИКИ ГЛУХИХ», 16

И все же «я» есть. «Я» существует. «Я» имеет тело.

Когда я вижу

тонкие мальчишечьи ноги моей жены,
мое нёбо
мгновенно сохнет.

Она берет в рот
палец моей стопы.
Слегка кусает.

Как мы живем на земле, Москит?
Если бы я мог слышать тебя,

что бы ты сказал?
Отвечай, Москит!

Более всего остерегайтесь
печали;

на этой планете мы можем делать
все, что хотим
– не правда ли?

ПАУЛЬ ЦЕЛАН

Он пишет пальцами
в направлении твоего рта.

При свете фонарей он видит грязь, деревья, укушенные ветром,
он видит траву, что пережила этот час, страницу,

строгую, как опаленное поле, –
«Свет был. Спасение»,

– шепчет он. Слова оставляют привкус почвы
на его губах.

Перевод с английского Анатолия Кудрявицкого

Антон Яковлев

НЕДОЛГОЕ ПЛАВАНИЕ

ГЕНЕРАТОР СТРАХА

Генератор страха маячил в углу театрального зала,
где мы репетировали.

Его украшали разнообразные отпечатки ног.

Генератор страха тихо урчал,
как разбитый двигатель после аварии.

Наша пьеса была написана специально для нас,

Но генератор в углу шипел,
и слово «груша» превращалось в «глухиши».

«Почему ты грустишь?» – звучало как
«Почему у меня из-за тебя появились круги под глазами?»

Со временем мы стали друг для друга хуже смерти.

«Признайся, – настаивал я, – речь шла о груше».
«Подавись своей грушей», – вырвалось у тебя.

Слева от сцены генератор страха не унимался:
«Обними меня. Обними меня. Обними меня. Обними меня.
Обними меня».

В один прекрасный день конец света не наступил.
На следующее утро мы остались без философии.

Неделю спустя наша пьеса никуда не годилась.
Через две недели ее уже транслировали в высокой четкости.
Генераторы страха бесчинствовали в кинотеатрах,
нападая на зрителей.

Мы пытались смеяться,
но нашему злорадству никто не верил.

Тридцать лет спустя мы продолжаем хранить наши половинки генератора, сожалея, что он развалился.

Перевод с английского Игоря Ставановского при участии автора

В БУДУЩЕМ

В будущем каждый автомобиль
будет продаваться с деревом,
прикрепленным к выхлопной трубе,
чтобы отфильтровывать углекислый газ.

Инспектировать такие машины
будут садовники,
проверяющие состояние деревьев.

Парни, приглашая девушек
на выпускной вечер,
будут должны внимательно ухаживать
за своими выхлопными деревьями,
потому что отцы девушек
будут пристально наблюдать за их выхлопами
из окон второго этажа.

Пожарные будут соревноваться
на дружеских олимпиадах,
где жюри будет измерять,
на чьей машине больше выхлопные деревья.
Пожарные будут демонстрировать,
как они тушат горящие дома,
не повреждая свои деревья.

Деревья будут выращивать
в специально охраняемых садах,
искусственно ускоряя их фотосинтез,
чтобы они могли фильтровать
в тысячу раз больше углекислого газа,
чем деревья сегодняшние
где-нибудь на Парк-авеню.

Символом удачи будут считаться
садовые гномы в автомобиле.
Бергенский районный завод

по производству садовых гномов
станет гигантом индустрии.
Задравшие нос наследники гномовых магнатов
откроют престижные галереи.

В будущем в каждом городе будут ветряные турбины
вдоль всех улиц, там, где раньше были деревья.
Улицы будут окрашены в белое:
белый асфальт меньше нагревается.
Хорошие солнечные очки станут обязательным
предметом обихода для автомобилистов.

А в небе искусственный Зевс
будет добавлять облака в стратегически важных местах,
затеняя мир, чтобы айсберги снова сформировались
и полярные медведи смогли бы
снова пить свою кока-колу,
ни о чем не волнуясь.

До этого светлого дня ты не доживешь.
Не доживу и я.
Наши правнуки будут изучать
нашу генеалогическую линию
и посещать те места, где стояли наши дома,
испытывая ностальгию
по нашему безразличию и неосторожности,
идиотизму и беззаботности,
по нашим лошадиным фермам и по неожиданным секвойям,
которые росли, где им вздумалось,
и никому не приходило в голову
прикреплять их к бамперам машин.

Они будут говорить:
«Я бы так хотел поговорить с ними» –
и выкладывать старые цифровые фотографии
в свой живой журнал,
а дрессированные вороны будут парить за окнами
с солнечными батареями,
прикрепленными к крыльям.

УЛЫБКА

Возможно, вы почувствуете его дыхание
за своей спиной.
Он хочет пожать вашу руку.

Его лицо не видно в полнолунье.
Он подойдет тихонько сзади,
но никогда не коснется.

Те, кто ищет любви на одну ночь,
должны использовать GPS-навигацию,
чтобы случайно не пересечься с ним.

С его рук капает пот и сажа.
Он плачет о своей жизни
дельфинам в аквариуме.

Улетевшие воздушные шарики
пролетают мимо него ночью.
Днем мимо проходит бешеный опоссум.

Он улыбнется опоссуму.
Зверек улыбнется в ответ.
Он протянет опоссуму руку.

НЕ НАХМУРИВ БРОВИ

Я помню, как ты смотрела исподлобья
до того, как я
исчез из твоего мира.
Как ты сдержалась и не зарыдала.

Сегодня ночью вспомнил твои ресницы,
как сильно они на меня действовали.
Сижу, обхватив голову,
между стеной и диваном.

На крутящейся пластинке
березовый гимн Чайковского.
Ты бы покачала головой.

В гостиной меня накрывает
пустой театр. Твои
закрытые глаза – Шерлок Холмс!

Бог – это светофор,
на котором ты тормозишь и
кто-то другой перебирает
радиостанции в твоем стерео

и где я уже никогда не открою
дверь твоей машины.

Перевод Саши Гальпера при участии автора

НЕДОЛГОЕ ПЛАВАНИЕ

Виселица стояла в самой низкой точке долины, без петли и без палача. Все туристы писали о ней по вечерам в своих дневниках. В основном они размышляли о приговоренном, гадали, где он сейчас находится, и надеялись, что кто-нибудь уберет виселицу, прежде чем смерть будет приведена в исполнение. Никто не размышлял о преступлении. Некоторые скакали, как зайцы, через долину и пили кофе в полой тени виселицы.

Ты была единственной, кто отождествил себя не с приговоренным, а с виселицей. Тебя потрясали ее одиночество и выносливость. Не прошло и минуты, как ты стала говорить со мной голосом виселицы, стала разглагольствовать, какая нужна выдержка, чтобы так день и ночь стоять, слушая метеориты, превозмогая искушение упасть вместе с ними.

Твои глаза сияли, как лампочки в подвале Исаака Азимова. На тебе был черный жакет с красной полосой по диагонали, похожей на перерезанное горло. Все еще говоря голосом виселицы, ты попыталась помолиться, но переврала имя Господне и разразилась такими ругательствами, что чуть сама не споткнулась о кусок сгнившей коры. «Хорошо, что виселицы не ругаются!» – пошутил я и провел руку сквозь твои волосы, из которых посыпалась давно забытые лепестки роз. Ты напевала свою любимую песню, посвященную Афине Палладе.

Потом ты достала флягу и пригубила коньяку, стараясь на меня не смотреть. К нам подошел турист ученого вида и стал прыгать,

как заяц. Я спросил: «Это не вас приговорили к смерти?» Он снял с себя всю одежду и поскакал к виселице, потом мимо нее, и скрылся восьмой.

Я уже не помню всего, что произошло в тот день. Я не могу сказать, какой у меня был пульс, нормальное ли было у меня давление и хотел ли я кофе, как какой-нибудь бурый медведь, у которого болит голова. Но я помню, как ты пыталась имитировать форму виселицы, как ты пыталась встать так, чтобы твоя тень была похожа на ее тень.

Намного позже ты мне рассказала, что пришла со мной в эту долину по рекомендации человека, в кого была тайно влюблена, поклонника архаичных орудий казни, с которым ты однажды выпила чашечку кофе в уголке магазина подержанных книг. Ты носила его подержанную книгу в кармане. Ты потеряла с ним связь. Это из-за него ты так хотела стать виселицей и непоколебимо стоять посреди травяной равнины.

Я вспоминаю твои позы, вспоминаю твой силуэт на фоне ярких фар проезжающих вдалеке вездеходов. Я давно не нахожусь в контакте ни с кем, кто тебя помнит. Долину заасфальтировали. Виселицу заменили на музей современных искусств. Иногда я приезжаю на его паркинг, надеваю плавки, ныряю в вязкий асфальт и недолго плаваю.

ЭКЗОРЦИЗМ

О небезызвестный водитель
чрезмерно прославленного светло-синего кабриолета,
почему ты гнешь кинжалы своими серыми глазами?

В твоих левых поворотах чувствуется страх сцены.

Когда ты дуешься, ты роняешь темные мысли в котелок.

Я подозреваю, что ты наследник
Баскервилей, уже после собаки.

И по заказу, и просто так,
твои картины полны пауков.

Ты измеряешь полтергейстов в своем доме,
чтоб предсказать уменьшение размеров овец на острове
Святой Кильды.

Рассеянный Харон,
ушедший на пенсию с Леты,
собирает пепел твоих дневников.

—

В твоей голове звенят колокола,
и тебе отвратителен их звук,
но нравится медленный огонь отвращения.

Даже твой мягкий пес любит поковырять кость раздора.

—

Я видел тебя на Brighton Beach в день после Рождества.
Ты выходил из воды.

И тем не менее мы одинаково реагируем
на сквозняк, загибающий пальцы
зимними вечерами, когда время меняет скорость.

—

Забудь, куда ты идешь.
Оденься в белое,
закрой глаза,
скажи что-нибудь съемочной группе за дверью твоей квартиры.

Тебе не надо завтра на дуэль.
Все будет хорошо.

Смотри: на углу открылась новая закусочная.

ПАМЯТЬ

Сорняки скоропортящихся хот-догов на тележках.
Сорняки сандалий, сделанных по счастливому случаю.
Сорняки рутинной тени

пляжного зонтика предков. Сорняки воды.
Сорняки галлюцинационной давки.

Мы ходим по ним
Мы их вытаптываем
Но они появляются снова
Появляются снова

Сорняки твоего самокопания в кармане открытого поля.
Сорняки плоскостопия на разгневанной дороге.
Сорняки дождя, обливающего твой брызгающий мозг.
Сорняки чьей-то ссылки.
Сорняки болтовни. Сорняки утопления и еще раз утопления,
и превращения в армию утопленников.
Сорняки сгнивших синиц.
Сорняки мавзолейной скучки.
Сорняки перебесившейся катастрофы.

Мы ходим по ним
Мы топчем их нашими хищными ботинками
Но все равно они становятся фейерверком
Становятся фейерверком

Сорняки современных кенгуру. Сорняки хорошего места,
чтобы себя запугать. Сорняки возможной необиды.
Сорняки самого утомительного клоуна.
Сорняки тени фламинго на диких цветах.
Сорняки красоты. Сорняки обеда за доллар.
Сорняки несчастного человека, осчастливившего всех других.
Сорняки, черт побери. Сорняки невежественной машины.
Сорняки льда. Сорняки выброшенных за ненадобностью.
Сорняки других планет на твоем пальце.

Мы протягиваем над ними ноги
Мы протягиваем свою метафизику
Но все равно они срывают с нас кожу
До смерти срывают с нас кожу

Сорняки бойни. Сорняки соприкосновения.
Сорняки глобализма в саквояже.
Сорняки опыта. Сорняки свиней в сорняках.
Сорняки побоев.
Сорняки Савонаролы. Сорняки наслаждения,
о котором мало кто теперь думает.

Сорняки сокрушительной истории. Сорняки твоего ухода.
Сорняки твоего солнца. Сорняки твоей честности.
Сорняки твоей вечности. Сорняки
товарищей. Сорняки абсолютных ковбоев.
Сорняки невысказанных личинок. Сорняки
нас. Сорняки преобразующей смерти.

Мы их разлюбливаем
Мы перестаем ими быть
Но все равно они грабят нашу волю
Все равно возвращают нас в музыку

Перевод автора

Дори Манор

ОСОБЕННОЕ ВРЕМЯ¹

СОЗРЕВШИЙ

Та гора была совсем как грудь
Юноши, что ненавидел зрелость.
В плоть мужскую, не успел моргнуть,
Стать мальчишечья оделась.

Как под веком прячутся зрачки,
Закатился он и замер.
Где круглились нежные соски,
Там ручей журчит слезами.

ЯИР

Я тебя обнимал сквозь зеленую ткань
Твоей майки, семнадцать немыслимых лет
Между нами ревели – любовная брань,
Но потом, сам с собою, тобой не согрет,

Я оплакал позор твой, мне сжало гортань
Сожаленье: тебя заклеймит целый свет.
Но позору и я заплачу свою дань,
Потому что лекарства от времени нет.

Ничего не вернуть, все уплыло из рук.
Я тебя обнимал – это плоть, это дым.
Только свежестью тайной пахнуло мне вдруг:

То цветенье твое с увяданьем моим
Поделилось, со временем накоротке.
Я тебя обниму в тоске.

Перевод с иврита Дмитрия Кузьмина

¹ Переводы выполнены для международного фестиваля «Поэзия без границ» в Риге и поддержаны грантом организации «Натив» при администрации премьер-министра Израиля.

ВЫРВАННАЯ НИТЬ

Как может сам себя в ночи баюкать человек?
 Как может человек себя столь одиноким мнить?
 Из детства вырван человек, как бы из ткани нить.
 Ничто на свете не смежит его усталых век.

В мечтах отправится в Мадрид, иль в Вильнюс, или в Вену,
 На север времени и в край заката человек.
 Гондолы строит, и плывет на них из вены в вену,
 Ничто на свете не смежит его усталых век.

Укутался он в белое из пуха одеяло
 И чувствует, как мать его когда-то обнимала,
 И сам себя баюкает тихонько человек.
 Ничто на свете не смежит его усталых век.

ИЗ ЦИКЛА «МЕСЯЦ В ГОСТЯХ У ВАН ГОГА»

НАРЦИСС

«Он думал лишь о том, как он красив», –
 Трещит слащаво женщина в музее
 Подростку-сыну, что стоит, застыив,
 На тонущего отрока глазея.
 Его ж поток воронку уносил
 Меж тростников, и стал растущий рядом
 Камыш его гортанью – не спросил
 Он мать о том, с ее наивным взглядом,
 А сковал рукою плоть свою в кармане,
 Впервые крови чувствуя прилив,
 Несущий, знал он, исцеленье ране,
 И думал лишь о том, как он красив.

КИПАРИСЫ

Я видел кипарисы у надгробья,
 Их гнул мистраль. Послушные ветрам,
 Они клонили головы – подобья
 Блок-схем судьбы, ее рентгенограмм.
 Меж саркофагов (кои «плоть съедали» –

Была табличка там и текст на ней)
 Они, как дроты, время прободали.
 Я испытал оргазм тогда. Верней
 Не знаю, как назвать то восхищенье
 Души, то совершенство бытия:
 Прорвали плоть, изверглись ощущенья,
 И душу кипарисов понял я.

ВСТРЕЧА С СУЦКЕВЕРОМ

Не тутный ты – а я пока не тамный.
 Авром Суцкевер

Вторая встреча с Суцкевером. Плещется в стакане
 Со «Спрайтом» горлица-душа – мгновенье, не спеши!
 – Где ты родился, Суцкевер? – Своими я руками
 Себе построил родину: грядущий мир души.

– Где ты родился, Суцкевер? – В молчанье вулканическом.
 Душа его укутана наждачкой неуютной.
 Базальтовая горлица там, в хрустale магическом,
 Белеет девяносто лет, но взор ее – не тутный.

Вторая встреча? Правильней сказать: еще одна,
 Ведь мы вчера лишь виделись, на озере в Тракае,
 Где скачут рыбы, и в хрусталь глядит, черным-черна,
 Цыганка, темной страсти исполненье предрекая.

Вчера лишь, партизаны, мы в прыжке ушли из леса,
 И сила притяженья нас низвергнуть не могла.
 И с той поры мы в воздухе парим себе без веса
 Средь тех неугомонных, у которых два крыла.

Пьяны от разговора, тель-авивский вечер темный:
 Был юн я – шел ему уж девяносто первый год.
 – Где ты родился, Суцкевер? – В грядущей песне. Помни,
 Что время сделало тебе. Пиши – ведь твой черед.

МЕНЬШИНСТВО (СИРОТА)

*the hand moves
to the center
of the flesh...*

Allen Ginsberg

*...что наши матери родили нас
в центре мира, в центре времен.*
Ури Цви Гринберг

Распахнут в центре был, на слове «сирота»,
Словарь. Мне было пять. Нечаянно его
Открыл я – и меня жуть выдернула та
Из центра пупов, центра детства моего.

От страха глубже я смотрю на естество:
Есть в центре у плода заветные места,
Где семя. С той поры в союзе мы, чета –
Я с семенем моим. С тех пор я – меньшинство.

С тех пор я алчу губ, не по своей охоте
От центра времени я отдан центру плоти,
И вот, рукой тянусь я к семени в плenу.

С тех пор я розы рву, чей аромат – мужской,
И, чтобы не увять им в суете мирской,
В центр словаря вложить их надо, в глубину.

НИ НА ЧЕМ

Есть кожа души, и по ней барабанит
Молчание, как на тимпане – бом-бом;
Страх тайный красою, усилившись, станет,
Алмазом – удар и излом.

Ночь. Вышел я в город (порою ночною –
Возможностей пояс, как в ряд фонари.
Тьма – дробью по плоти, и звонкой струною
Ей отклик звучит изнутри) –

Итак, вышел в город. Спокойствия я не
Искал, как протон в центрифуге скользя:
От бара к базару, с базара к поляне
В лесу, где исполнить нельзя

То, что этой ночью мне было желанно, –
Концерт для ударных с позора бичом.
Страх тайный во мне, и удар барабана
Висит там внутри ни на чем.

МАТЬ

*Нурит Пелед-Эльханан,
памяти Смадар¹*

Есть для Смадар особенное время.
Встать без молитвы в шесть часов утра –
Часы те нелегки, как будто бремя,
Оцепеневшей тишины пора.
Пойти на кухню: стол, кофейник, нож,
Яичница да огоньки плиты.
Знать, что неисцелима боль, и все ж
Взглянуть, как расцвели в саду цветы.
Ведь невозможно вытерпеть беду,
Боль о вчера увядшей хризантеме –
Сев без веселья и без слез страду.
Есть для Смадар особенное время.

ИВРИТ, ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕ

Я, друг мой, пропал, ошибся
тысячелетьем, сорри.

Меня уже не спасет
любой поворот истории.

Сколько еще протяну –
неважно, на самом деле:

¹ Стихотворение посвящено памяти Смадар Эльханан, убитой в теракте на пешеходной улице Иерусалима в 1997 г., в возрасте 14 лет.

я в каталоге, в плену
навек меж стихов Рахели,
Гордона, Альхаризи –
«Иврит, тысячелетье

второе». Сознаюсь в капризе:
всем телом я лезу в третье.

То тысячелетье – исток,
а устье мое – это.

Друг мой, время – поток.
По сути, выбора нету,

где мы берем начало
и где нам придет каюк.

Запад востоком станет,
севером станет юг.

Ты был и прежде, чем чувствовал.
Так же, прежде конца

твоё тысячелетие
лишил тебя лица,

самосознанья, клеток.
Ты расстанешься с плотью,

став неспособной насытить
ни льва, ни овцу щепотью.

И не заполнит яму
за позвонком позвонок,

но и у тысячелетних
рек немало проток,

будь это Иордан
иль Енисей суровый.

Пиши, ибо твой черед:
Нарциссы эпохи новой

вновь будут падать в воды
новых рек, и ты

стань для них рекою,
смыслом их красоты,

и пусть их красу отразят
воды твои вот эти,

и пусть их краса отразит
воды тысячелетья,

где ты – в каталоге (коль твой
поток не иссякнет вдруг).

«Третье тысячелетье.
Иврит» – станет севером юг.

Перевод Шломо Крола

МЕМОРИАЛ КАТАСТРОФЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Вечно синий с раскрытым ртом мясник сидел в маленькой лавке
между висящими на крюках кусками мяса,
как тот перекошенный веласкесовский римский папа
с мясных картин Фрэнсиса Бэкона.

На его жилистой руке был вытатуирован синий стершийся номер,
и я не мог оторвать от него глаз.

На руке соседки Рахэл тоже был номер.
Рахэл – с ударением на первом слоге, без идишской «о»:
не Рохэл, а Рахэл.
Она пожертвовала этим «о» ради своих детей-сабр.
Из ее крохотной квартиры всегда несло подгорелой кашей
и ужасно кричали.

Она родилась в Румынии и была,
шептались у нее за спиной в округе,
tam.

А из дома напротив каждый вечер протяжно вопила мать
жирного малолетки-садиста Мули:
«Мули, домой!» –
она округляла «л» в «Мули», и я представлял, как ее язык
извивается в огромной глотке
подобно моллюску.

А еще был Ехезель из продуктового.
У него не было номера на руке, потому что он был из Ирака.
Но вечный душок прокисшего молока
со дна таза с молочными пакетами в его магазине
возмешал этот недостаток.

Пакеты плавали в нем, как белые потрепанные
тошнотворные киты.

У Ехезкеля были густые торчащие брови,
длинные волосы в ушах и ржавый чуб перевернутым
треугольником,
который напоминал мне мемориал Катастрофы и Возрождения
на площади Царей Израиля.

Чуть позже открылся гастроном грека –
его так и называли «грек», –
в котором
посреди бочек с битыми оливками и копченой рыбой
уже было повеселее.
Но там было все дорого, и мы перестали у него покупать.

А в школе я встретил целую шайку
учительниц-полек в полном – в самом полном! – соку,
разносивших по выбеленным коридорам
тяжелые сладкие запахи
старых духов.
Они вонзали в воздух высокие
прихваченные жемчужными заколками прически,
стараясь превозмочь, каждая непреклонна по-своему,
удушливый акцент
оттуда.

Прежде всего они пытались смягчить устаревшее
нёбно-зубное «р»,

чтобы звучать не так отдаленно от своих малолетних учеников –
гортанящих «р» сабр,
таких легкоязычных и шустрых:
нас
тогда.

И Я ИСКАЛ ЕГО ДУШУ

То, что предрекло сердце, заверила жизнь:
в нижний Париж я пришел из-за Гор Мрака.
Зря искал я в нем верхний Париж:
Бодлер не гулял тут с гашишной трубкой во рту,
Аполлинер не переходил речные мосты со старой книгой в руках,
а Брассенс не кормил больше уличных кошек в переулке
Флоримон –
в четырех минутах от квартирки, которую я снял в тихом рабочем
районе
четырнадцатого округа,
на юге города.

Я был крошечным закоулком
чересчур человеческого города,
опутывавшего меня
шепотом.

Я был крошечной капсулой времени
в нем.
И я вышел на улицы
в поисках его души.

Люди думали, что я ополоумел.
Возможно, они были правы.

Перевод с иврита Алекса Авербуха

Хорхе Луис Борхес

ТАМ, ГДЕ МОЙ ПРАХ

УЛИЦЫ

Буэнос-айресские улицы
мою стали сутью.
Не жаждущие улицы,
стесненные толпой и суетою,
но сломанные улицы предместий,
почти не замечаемые по привычке,
те улицы окраин,
лишенные деревьев благочестья,
суровые дома осмеливаются едва где
под тяжестью бессмертных расстояний,
в видении глубоком потеряться
равнины и небес.
Для одинокого они – как обещанье,
ведь тысячи отдельных душ их населяют,
единственных пред временем и Богом,
и, безусловно, драгоценных.
На Запад, Север и на Юг
развернуты они – и родиной мне стали;
в стихах, что набросал я здесь, хотя бы
пусть развеиваются их флаги.

КЛАДБИЩЕ РЕКОЛЕТА

Убежденные в бренности всего
столькими благородными утверждениями пыли,
мы говорили все медленнее и тише
среди длинных рядов усыпальниц,
чье красноречие мрака и мрамора
обещает и предвосхищает желанное
достоинство смерти.
Прекрасны гробницы,
обнаженная латынь и закрепленные роковые даты,
единение мрамора и цветов,
и площадки со свежестью патио,
и многие вчерашние дни истории,

сегодня заключенной и одинокой.
 Мы перепутали это спокойствие со смертью
 и думали, что желаем нашего конца,
 и желали сна и безразличия.
 Трепещущая в клинках и в страсти,
 здесь спящая в плюще,
 только жизнь существует.
 Пространство и время – ее нормы,
 волшебные инструменты души,
 и когда она умирает,
 с нею умирают пространство, и время, и смерть,
 так же, как при угасании света
 исчезают изображения в зеркалах,
 которые уже истончил вечер.
 Благодатная тень деревьев,
 ветер с птицами, что кружится над ветвями,
 душа, что рассеивается среди других душ, –
 это чудо, что когда-нибудь прекратится,
 чудо необъяснимое,
 хотя его воображаемое повторение
 наполняет страхом наши дни.
 Вот о чем я думал на кладбище Реколета,
 там, где мой прах.

СОНЕТ О ТАНГО, ПРОЗВУЧАВШЕМ В СУМЕРКАХ

Кто выразил все в этом старом танго,
 чья сладость долгая остановила
 меня у скромных, маленьких балконов
 не твоего, цветущего квартала?

Я знаю, что с его тоской увидел
 тот двор, что разглядел в одном предместье,
 когда оно закатом озарилось.
 Как никогда, в тот миг тебя любил я.

И, к музыке прильнув, я под луною,
 под сердцем улицы, недвижно замер,
 и ветер, погоняя ночь, промчался.

И танго вечное меня манило.
 К созвездьям новым. К риску быть собою.
 К воспоминанию, что ищу глазами.

ПРОЩАНИЕ

Вечер, прервавший наше прощание.

Вечер острый и восхитительный, и ужасающий, как темный ангел.
Вечер, когда наши губы жили в обнаженной близости поцелуев.

Неминуемое время разливалось над напрасным объятьем.
Мы вместе растрачивали страсть, не ради нас, но ради
одиночества, уже близкого.

От нас отказался свет; ночь наступила поспешно.
Мы были у этой ограды, в этой тяжести мрака, которую
уменьшала звезда.

Как тот, кто возвращается с далекого луга, я вернулся из твоего
объятья.
Как тот, кто возвращается из страны клинов, я вернулся
из твоих слез.

Вечер живой, длящийся, как сновиденье,
среди других вечеров.

А затем я ушел, настигая и оставляя позади
дневные пути и ночи.

УЛИЦА С РОЗОВЫМ МАГАЗИНОМ

Уже разбегаются взоры вечером по каждой улице
и, как предчувствие засухи, – дождь.

Уже все дороги так близко
и даже дорога чуда.

Ветер несет задержавшуюся зарю.
Заря – это наш страх делать разные вещи, она обрушивается
на нас сверху.

Всю святую ночь я бродил,
и ее волнение меня оставляет
на этой улице, которая могла бы быть любой другой.

Здесь снова безопасность равнины
на горизонте,
и пустошь, рассеивающаяся в кустах и проводах,
и магазин, такой отчетливый, как растущая луна
вчерашним вечером.

Родной, как воспоминание, угол улицы
с этими вытянутыми цоколями и обещанием патио.

Какое приятное свидетельство, вечная улица, потому что так мало
в тебе увидели мои дни!
Свет уже царапает воздух.

Мои годы прошли дорогами земли и воды,
и только рядом с тобой я тебя чувствую, улица, суровая и розовая.

Я думаю, что вдруг твои стены придумали рассвет,
магазин, что на кончике ночи так отчетливо виден.

Я думаю, и мой голос становится среди домов
исповедью моей бедности:
я не глядывался в реки, ни в море, ни в горы,
но со мной подружился свет Буэнос-Айреса,
и я кую стихи моей жизни и моей смерти в этом уличном свете.

Улица, большая и терпеливая,
ты единственная музыка, о которой знает моя жизнь.

Перевод с испанского Павла Алешина

Хеге Сири

СЛОВА О ЗАМЕРЗШЕМ ТЕПЛЕ

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Хеге Сири (*Hege Siri*), норвежская поэтесса и детская писательница с северосаамскими корнями, родилась в 1973 году. В своих стихах Хеге обращается к древним преданиям и легендам своих предков, а еще – к традиционному песнопению саамов, йойку. В своем поэтическом повествовании Хеге использует слова северосаамского языка. Все это формирует необычную художественную философию автора и придает глубокий лиризм ее стихам, которые, при современной форме, своим выраженным указанием на национальную идентичность напоминают норвежский романтизм. В подборку включены работы из дебютной книги поэтессы «Мгновение тысячелетий» (*Et øyeblikk noen tusen år*), увидевшей свет в 2009 году.

ОКНО

окно из кухни
глядит на дорогу и фьорд
отражается мамина мама в окне

мамина мама йойк¹ выпевает
тихо поет она йойк
и кивает
мамина мама поет дорогу и фьорд

под сенью горы в Буорресарку²
у окна на дорогу и фьорд
мы сидим – мамина мама и я

¹ Йойк – традиционное песнопение саамов, основанное на чередовании распевных звуков и слов, нередко лишенных прямого смысла, однако йойк всегда передает сущность исполнителя, описываемого предмета или феномена. Йойк – один из ярчайших символов национальной идентичности саамов.

² Буорресарку – саамское название прибрежной территории Бергеби, расположенной в Северной Норвегии. Название состоит из двух саамских слов: *buorre* – «хороший» и *sarku* – «гавань».

ощущаем колышется пол
в доме шепчет пучина к эадни¹
вижу я ту у которой мое лицо
гаибми² я ношу имя твое

окно из кухни
глядит на дорогу и фьорд
отражается мамина мама в окне

ПАМЯТЬ

в глубочайших глубинах
покоится память
о том что прошло
и чему никогда не бывать

ИСТОРИЯ

он мог нашептать о луне
мог поведать как лунный свет согревал

он мог нашептать и о небе
мог поведать как чувствовал бога

мир вращала луна ночь сменяя на день
и у всего что он видел был собственный голос

и мысль была знаком
рыщущим в поисках смысла

так он о жизни шептал
а что нашептал становилось историей

¹ Эадни – мать (сев.-саам.).

² Гайбми – помимо значения «тезка», слово «гайбми» может означать человека, в честь которого был назван другой (или человек, названный в честь другого) (сев.-саам.).

ЗАБЫТОЕ

знал он все
что когда-то забылось

он различал гул барабана
вместившего все между звуком и тишиной

когда снизу был верх а низ наверху
и вода текла в две стороны

небеса были разделены
на немыслимое и на мыслимое

земля средь созвездий скользила
вокруг солнца в кайме темноты

пел он то о чем слышал
пел и помнил о том что забыто

* * *

мать подбросила
мертвую птицу
прокричала лети лети

и глядела
как теряются стаи над морем
и лодки лежат на земле

мать запутала
в траве и зарослях клевера
не различала прилив и отлив
день и ночь
всю жизнь выживать

* * *

по дороге домой мимо фьорда
солнце шагает со мною сквозь ночь
покинутый дом все стоит
перекошены жерди
здесь скрыты истории и обо мне кое-что

я споро шагаю в забытое
мгновение часть вечности
иду и мороз пробирает

слышно как лед во фьорде гремит
снег все сметает куда ни летит
волны от берега катят
там где все жили бок о бок

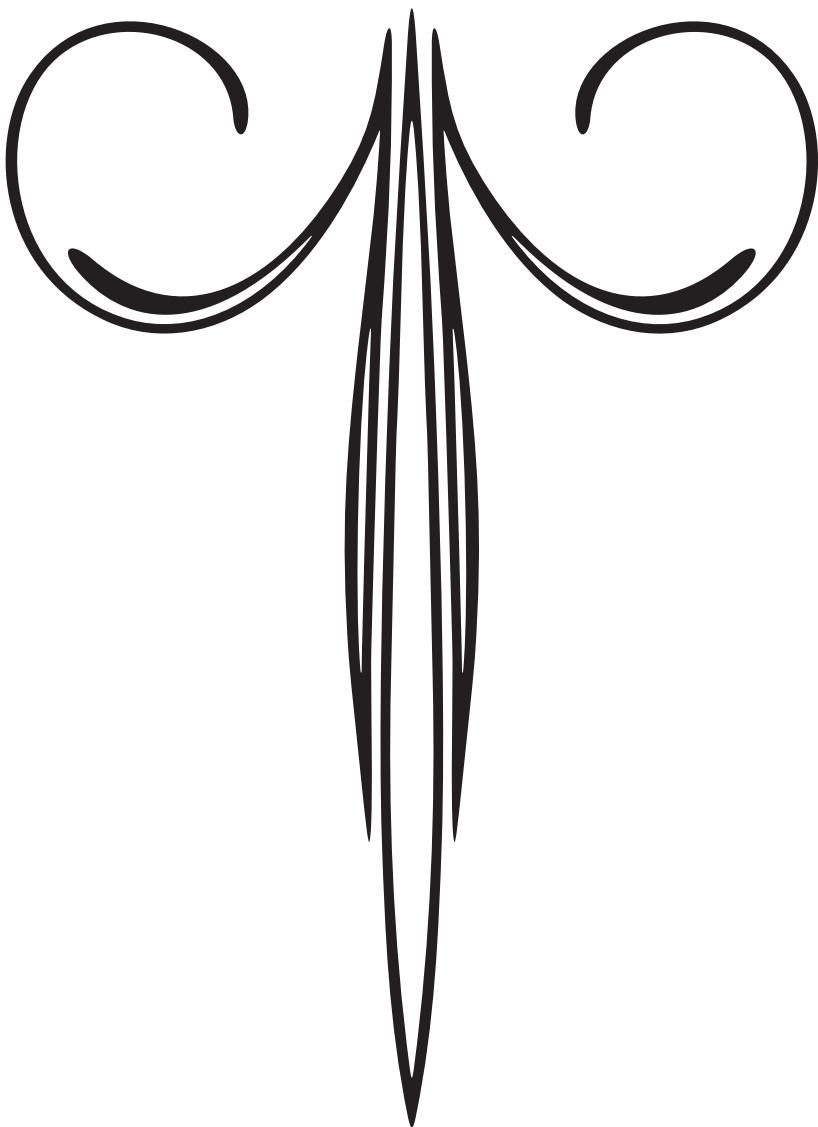
* * *

есть темнота
что царит средь домов
средь дремучих лесов
между фьордом и горою
между небом и землею

есть темень-царица
что в сердце гнездится

Перевод с норвежского Александра Панова

IN MEMORIAM



Алекс Тарн

ПАМЯТИ МИХАИЛА ЮДСОНА

В ночь на 21 ноября на шестьдесят четвертом году жизни скончался Михаил Юдсон, Миша, – замечательный, редкий литературный талант, один из тех мастеров великой игры со словом, которые играют только ради игры. Играют только и исключительно ради игры в бисер, смысл которой – в ней самой и более ни в чем, играют для себя и для Бога, а не для читателей, критиков, редакторов, издателей и прочего земного утилитарного мира.

Он принадлежал к роду небожителей, то есть жил Небом и, если бы мог, им бы и питался. Но, увы, в реальной жизни даже небожителям время от времени требуются хлеб и вино – особенно вино – и койка, лучше бы с подушкой, на которую можно положить гудящую словами голову. Его владение словом было запредельным, то есть пребывало за тем пределом, пройдя который владеющий языком человек целиком подпадает под власть своего материала, и язык начинает владеть им.

Этим Миша очень напоминал другого выдающегося и столь же трагически убитого той же болезнью тель-авивского литератора Александра Гольдштейна. Тексты обоих дышали ощущением неминуемой смерти – не смерти самого писателя (она всегда неминуема – преждевременная или признанная пришедшей по будильнику), а смерти литературы, языка, письменности кириллицей – не на планете Земля вообще, а намного шире – в частной Вселенной этого отдельного человека.

Я уже писал где-то, что литературная эмиграция в Израиль принципиально отличается от литературной эмиграции в Европу или Америку, где люди остаются русскими литераторами за границей. Мощь израильской идентификации довольно быстро нивелирует притяжение всех прочих империй и метрополий, включая языковую. Литературе здесь вырезают нутро и вставляют взамен инопланетную систему жизнедеятельности, никак не подходящую к прежнему набору хирургических инструментов. И чем изощреннее, чем разнообразнее был этот набор, тем сильнее оказывается ощущение наступившей бесполезности. Империя? Метрополия? Полноте... Это осталось там, в вырезанном кишечнике. Образ «того» прошлого почти нереален, фантастичен, несбыточен:

Мне, сидящему в глухом тель-авивском углу, московская литературно-издательская жизнь видится издали сверкающей (ну, пусть подсвеченной, как нынешняя столица) и празднич-

ной, как рождественская елка. Все яблоки, все золотые шары, все Букеры!..

Теперь внутри бурлит совсем-совсем другое, требующее иных слов, иного взгляда, иных ассоциативных связей, иной культурной базы – то есть всего того, что составляет литературный язык, инструментарий, чуждый твоему прежнему. Литератор и рад бы сменить свой старый саквояж, но для этого надо заново родиться, что, увы, невозможно. Остается лишь время от времени открывать его и любовно перебирать блестящие никелированные железки, слушать их перезвон, складывать их в причудливых комбинациях. Чем, собственно, и занимались Александр Гольдштейн и Михаил Юдсон.

Графоман – это тот, кто не может не писать, и в этом смысле они оба, конечно, были графоманами. И не просто графоманами – графоманами в кубе. Они буквально захлебывались словами – их звуком, смыслом, корнями, разбегающимися ассоциациями. Книжники и мыслители, они видели длинные, глубоко идущие связи там, где менее внимательные наблюдатели различают лишь гладкую поверхность, отражающую нехитрые физиономии. Молнии догадок, пронзившие их поэтическое сознание на каждом слоге, ветвились слишком далеко – за грань избыточности и уж точно за грань понимания даже нестандартного читателя.

В этом, собственно, и заключалась их главная беда как профессиональных литераторов – строчки, которые шли горлом, убивали не только автора, но и пресловутую «читабельность» текста. И оба, прекрасно сознавая это, до самого конца защищали не только безусловное право литератора писать по-своему, но и абсолютное право Слова, включающее, в числе прочего, и право на самоубийство – самоубийство Текста.

Миша просто не мог пройти мимо языковой/культурной аллюзии,озвучия,аллитерации – они без спроса подхватывали его перо и самостоятельно внедрялись в строку – внедрялись, решительно наплевав на план, сюжет, логику и прочие практические соображения.

Вот, скажем, «*стены, обитые пробкой*». Они попались ему по дороге, просто так; казалось бы – напиши и дуй себе дальше, как поступил бы любой «нормальный» прозаик. Но Миша не может, просто не может пройти мимо мелькнувшей мысли о Прусте, который, как известно, писал в комнате, где стены были обиты пробкой, и вот уже в течение фразы влезает этот ни к селу ни к городу не относящийся француз: «*прустовские стены, обитые пробкой...*» – пишет Юдсон и... И снова останавливается, подхваченный новой ассоциацией – уже не стен, а пробки, но не просто пробки, а пробки

от шампанского, и не просто слова «оббитые», но другого,озвучного и так прекрасно подходящего к шампанским пробкам: «оббитые». А кто у нас напропалую дул шампанское? Ну как же – конечно, Пушкин! И вот уже фразу уводит еще дальше: «...прустовские стены, оббитые пробкой, пушкинские стены, оббитые пробками...»

Или вот еще – выскакивают во двор собаки – просто выскакивают собаки, черт бы их побрал.

«...выскочили здоровенные дворняги...» – пишет Миша, и тут же останавливается. Так, если дворняга здоровенная, то это непременно Полкан... Да, но сказано «собаки» – значит, кроме Полкана есть еще кто-то... кто же?... – ну, скажем, Жучка...

И он пишет: «...выскочили здоровенные дворняги Полкан и Жучка...» Тут бы и закончить, но он не может – ведь Полкан и Жучка – такие банальные клички, невольно ведущие к еще более банальному Шарику.. Вставить, что ли, и Шарика? Но Шарик немедленно тянет за собой другую аллюзию, из принципиально иной, окуджавской, оперы: «Девочка плачет, шарик улетел». И Юдсон записывает окончательный вариант фразы: «...выскочили здоровенные дворняги Полкан и Жучка (Шарик улетел)...»

И так во всем, на каждой странице, в каждом абзаце. «Злоба дня» у него неизбежно перетекает в «ненависть вечера», в хедер бегают «засранцем с ранцем», от преследователей спасаются, прочитая «Ой, Зверь в мир», а в перечисление стандартных московских топонимов «Чертаново, Беляево...» контрабандой (из-за мелькнувшего стихотворного размера) тут же пролезает некрасовское «...Нерожайка тож».

Ну скажите, мог ли он быть кассовым автором? Конечно нет. «Дряхлый мцыри», застрявший, подобно фольклорному дуббуку, меж двух миров, как меж двух равно уважаемых семей, он был чужд как настоящему, так и прошлому:

*Мне, дряхлому мцыри, обитателю глиняно-ракушечных
тель-авивских трущоб, пыльной Безрублевки с чахлыми паль-
мами и сумбуром скрипичной ламца-дрицы взамен галутной
трехрядной гармонии, тоже хочется ощущать принадлеж-
ность к заснеженным пастернаковским просторам и леви-
тановским пейзажам. Этакое заединство огромных корней с
суффиксонами. Духовные скрепы спектра!*

Обратите внимание: не Шишкин и не Пушкин составляли его «принадлежность», но еврейские «суффиксоны» (левинсоны, арамсоны) Левитан и Пастернак. И пресловутые «духовные скрепы» неспроста сливаются в выскочивший по звуанию «спектр» (близкий к еще одному «суффиксону» Спектру)...

Легко ли ему писалось в этом межеумочном межмирном пространстве? Отнюдь:

...писанина, братцы (и сестрицы) – сие не хмельная вольница, не Тортуга, а каторга, где ядро на ноге, а никак не в полете... Скучная до оскомины расчисленность, регулярное несварение котелка чердака, кладка слов, подкладка смыслов – вроде как строить лапсердак. И порой тянет плюнуть на эту нудятину, тянувшую лямку чулана, и жить себе бездумно и цельно... Но надо же исполнять свои, чтоб им, обязанности! То есть настырно заполнять буквами постылый вакуум, ехать по-пропопову, до самыя не могу...

Замечу, однако, что он исполнял «свои, чтоб им, обязанности» в щадящем режиме – эссеистикой и рецензированием. Светлый, абсолютно чуждый обычной литераторской зависти человек, Миша ухитрился напечатать десятки рецензий, не сказав ни одного обидно-критического слова даже в те адреса, которые безусловно того заслуживали. Зато какими замечательными «юдсонизмами» сверкают эти коротенькие заметки «на тему»! Вот несколько более-менее случайно выбранных примеров.

О Губермане:

Нынче у Игоря Мироновича юбилей – в самом слове приятное бульканье. Губерман... вольно и плавно несет свои крылатые оды...

О Высоцком («творяне» здесь – гибрид творцов и дворян):

Это о них, творянах, по придумке Хлебникова, сказано было: «Если дадут линованную бумагу – пишите поперек. Поперек обрыва, поперек жизни – в пекло творчества!

О Бегине:

...Менахем с детства попал в атмосферу регулярной неустойчивости, колебаний мировой колыбели, зыбкой человеческой зыбки.

О Носове (социализм агнцев супротив английского оруэлловского):

Не оруэлловский, повторюсь, свалный ангсоц с двуспальным английским лёвою, а – невинный, кроткий агнцсоц.

О Л.Б. Либединской и ее знаменитой скатерти:

Скатерть – анаграмма «трескать». Но у Лидии Либединской слышится совсем иное – творить.

О «Волшебнике Изумрудного города»:

Но это все же не наша история – сказочно американизированная страна Оз выползает со своей географией и ведьмологией, шипя кока-колой.

О Марине Цветаевой:

Эх, предписано свыше, добро и зло – где Марина, а где Ариман...

Почему именно рецензии? Думаю, этот сопряженный с большим объемом чтения жанр помогал Юдсону согреться и обрести душевное равновесие: «Чтение же издревле сродни сиденью у костра – и душу греешь, и на огонь смотришь».

Но какую рецензию он написал бы о самом себе? Во что верил писатель Михаил Юдсон, на что надеялся, чего требовал от себя? Вот два ярких, хорошо продуманных и прекрасно сформулированных ответа:

Меня огорчают вымыслы про умысел Божьего промысла – хочется все же верить (подобно наивному Ивану Бездомному), что человек сам хозяин своей планиды, что он маракует в грамоте и не крест ставит в Книге судеб, а собственную запись. ...сопереживать и мыслить, отbrasывать привычные подручные грабли и не ковать упрямо чего-то железного, а искаль упорно чего-то нового, заветного, вплоть до нехоженых воздушных путей, всемирного викжеля, желательно, впрочем, не проливая масла на рельсы.

Здесь, кстати, еще один характерный пример полета юдсоновской аллюзии: Викжель, если кто непомнит, – недолго просуществовавший Всероссийский исполнком железнодорожников, который искал «новых путей» осенью 1917-го, за что и был распущен большевиками зимой 1918-го. В этой фразе он стоит, как мост – вестимо, железнодорожный, – между словом «железного» и словом «желательно»; попутно цепляя на манер дополнительного вагона еще и булгаковскую Аннушку.

Наверно, будет правильно закончить это поминально-прощальное слово абзацем из единственной книги Михаила Юдсона «Лестница на шкаф»:

«Я лежу в тихой белой комнате у окна, на высокой кровати. Одет я во что-то белое и легкое. Рядом на столике тонкий стакан с желтым соком, какая-то книга, маленькая плетеная корзинка с абсорбцией (вот он, типичный «юдсонизм» – А.Т.). Вижу в окно верхушку пальмы, голубое небо с белым облачком в углу. Пахнет морем, свежий ветерок чуть колышет сдвинутые занавески. На полу валяется сброшенная банановая шкурка и апельсиновая скорлупа. Ощущение легкости, вылупленности. Я вернулся. Много лет бродил я вдали, скитался в снегу и рассеивался под чужими дождями, много-много лет, тыщи две... Голубая с белым волна мягко подхватывает меня, уносит, я закрываю глаза и начинаю Восхождение».

Счастливого Восхождения, Миша. Твой главный Читатель и Слушатель ждет тебя, приветливо улыбаясь.

21.11.2019

Андрей Грицман

* * *

памяти Михаила Юдсона

Господи, дышать так трудно.
Как низко небо. Граница близко.
А все, что надо: глаголов связка, банан, ключи,
фалафель, ручка.
Остыл компьютер, душа теплеет,
к пути готовясь, домой на волю.
И что ж ты, Миша, нас тут оставил?
Факир метафор. Дыра чернеет
в исходе боли. А может все же
еще за банкой через дорогу
на Бен Йехуда?
Как было раньше.
Путем Ухода – не надо больше.
Мы в тупике: пакгауз звуков,
Наречий наледь, хуйня искусства.
Спасибо Миша, что дал нам слово.
Так стало пусто. Так стало пусто.
До встречи, Миша.
До встречи снова.

ноябрь 2019

Ирина Маулер

ДОМ

Михаилу Юдсону

Осторожно, предательство, не отвечай!
Не смотри в эту черную метку в окне.
Ты останешься, чтобы допить горький чай,
Для тебя приготовленный здесь, на земле.

Я держу твою руку, стучу кулаком,
Я тебя ненавижу за эту печаль,
Я тебя ни за что не пущу в этот Дом,
Где стоит на дверях невозврата печать...

Ты упрям, ты добьешься всегда своего.
Ты сказал, что тебе ни к чему эта боль,
И спокойно закрыл, не спросив никого,
Эту дверь, не давая идти за собой.

Невозможно и больно – по носу щелчком,
Невозможно и режет вопросом душа –
Неужели ты просто сбежал в этот Дом,
Потому, что тебе в нашем нечем дышать...

